

84РБ К
0-23

«ОБРАЗ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
№ 2 2019 г.



Кемерово
Офсет
2019

16+

мел 4-31-45
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

| |
|--|
| |
|--|

84PG K
0-23

«ОБРАЗ» литературный альманах №2(21) 2019г.



Кемерово
Офсет
2019

2019
№2(21)
0-23

103533(9)

Содержание:

Поэзия

| | |
|-----------------------------|-----|
| Константин Комаров..... | 3 |
| Юлия Шкуратова..... | 9 |
| Анна Харланова..... | 14 |
| Ольга Хомич-Журавлёва | 46 |
| Наталья Емельянова..... | 52 |
| Татьяна Половинкина | 58 |
| Любовь Ки..... | 74 |
| Наталия Елизарова | 79 |
| Анна Терентьева..... | 84 |
| Артём Морс..... | 98 |
| Марина Комиссарова | 103 |
| Павел Куравский | 108 |

Проза

| | |
|------------------------|----|
| Лев Григорян..... | 19 |
| Михаил Смирнов..... | 63 |
| Александр Курошин..... | 90 |

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

РФ Кемеровская обл.
г. Ленинск-Кузнецкий
МБУК "ЦБС 2-й Н.К.Круавой"



Константин Комаров. Родился в 1988 году в Свердловске. Поэт, литературный критик, литературовед. Кандидат филологических наук. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Дети Ра», «Новая Юность», «Волга», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «День и ночь», «Вещь». Автор нескольких книг стихов и литературно-критического сборника «Быть при стекле». Член Союза российских писателей. Живёт и работает в Екатеринбурге.

Константин Комаров **г. Екатеринбург**

Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу:
о тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я в бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ.

И ей навстречу - световая -
из неопределённых мест
идёт диагональ другая
и образует с нею крест.

А ты гадаешь всё: при чём тут -
подкожную гоняя ртуть -
не те, кто ими перечёркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.

И засыпаешь ненароком,
размалывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.

О.М.

Такой тебе путь предначертан
твоей диковатой луной,
и снова в почётную Чердынь
твой поезд идёт ледяной.

Мальчишка. Мечтатель. Мучитель.
Молчанья сырого мясник.
Свет слов и ночных и мучнистых
ты вылушил и прояснил.

Но страшные стражи не спали,
и вот до коричневых слёз
терзают охрипшие шпалы
губами дрожащих колёс.

А в сон твой последним посольством
из мира без страхов и бед
приходит солёное солнце
и зренью ломает хребет.

И века чердачная осыпь,
и голоса дробная сыпь.
Ну здравствуй, раб божий Иосиф,
а ты не ответишь - осип,

заметишь лишь на автомате
 во мгле, что лютей и лютей,
 лежащих, как рыбы в томате,
 тебе незнакомых людей.

"И мне будет с ними не тесно -
 подумаешь, экая блажь".
 И тела обмякшее тесто
 на божьи бисквиты отдашь.

Слово лежит во рту,
 будто бы лазурит.
 Пламенем на спирту
 не говорит - горит.

Вплавлена в плексиглас
 сонная немота.
 Тонуций в плеске глаз
 не различит цвета

каменных мотыльков,
 дымчатых облаков,
 радужных угольков
 и золотых песков.

Но стрекотанье звёзд
 радует дурачка
 до закипанья слёз
 на глубине зрачка.

Он подносил ко рту
карту кривых зеркал
и целовал их ртуть -
плакал, не умолкал.

Но наконец, умолк...
И показалось мне
в страшной, как серый волк,
сказочной тишине

звоном пустых кольчуг,
каплею на ноже -
что я ещё молчу,
но говорю - уже.

Из дому выйдешь. Сквозь людей
пройдёшь - печальный и скуластый,
и в магазине суперклея
приобретёшь. И склеишь ласты.

Смахнув слезинку со щеки,
густой щетиною обросшей,
наденешь вместо них коньки,
но сразу же и их отбросишь.

И, наплевав на дождь и град,
на снегопад и зной палящий,
не в нарды, не в футбол играть
отправишься, а сразу - в ящик.

И выиграешь право петь -
немного глухо и капризно
о том, как сложно умереть
в стране подобных эвфемизмов.

Но, приучивши карандаш
к недолговечному покою,
возьмёшь себе и дуба дашь
над недописанной строкою.

Мне далеко недалеко до слома:
я прочно встал у бога на крыльце,
как твёрдый знак в начале злого слова,
а хочется – как мягкий знак в конце.

И, раскарябав звукорябь тугую,
коварно подменившую асфальт,
переступаю с левой на другую,
которую и правой не назвать.

Трясу листвы усталые поджилки,
рублю гортанью воздуха вино,
а компроматы пухлые подшиты
к безделью моему уже давно,

зато – мне никуда не надо пехать
и некому и нечего пихать,
когда белеет буквенная перхоть
на голове немытого стиха.

Я знаю: истончится век-дистрофик
и, утекая, как река в Аид,
среди других и этот пятистрофник
меня к себе ещё приговорит.

Подняв своё измученное тело,
как из капкана вылезшая мышь,
по Малышева шляясь ошалело,
ты думаешь: всё кончено, малыш...

Не поняли тебя, не оценили,
прогнав метафизическим пинком...
В унынье ты заходишь в пиццу-мию,
заказываешь крылышки с пивком...

И ешь, и пьёшь, и пожинаешь лавры
беспечного похода напролом,
и веришь в то, что не ошибся в главном,
и брошенному богу бьёшь челом...

Но, на пустой стакан нахмутив брови,
себя одёрнешь в нужном падеже:
ты столько лет по Малышева бродишь,
свернул бы на Восточную уже...



Юлия Шкуратова начала писать в детстве, ходила в литературную студию «Свой голос», затем в «Аз», победитель поэтического конкурса среди лицеистов Городского Классического Лицея города Кемерово, областного конкурса поэтов в 2012 году; принимала участие в проекте «Поэты Сибири: диалог поколений». Участник XVIII международного форума молодых писателей, стипендиат министерства культуры РФ.

Юлия Шкуратова г. Кемерово

девочка ходит печальная
печальная в платьишке девочка
грусть ее предызначальная
следом крадется как белочка

шепчет ненужное слово
мол все в ней не так как-то
ты девочка значит добрая
в платьишке значит богатая

нам серым бедным белочкам
на что ваш фундук стоит дорого
и девочка бросила семечек
в прохладную мякоть сугроба

по семечке каждой белочке
а белочек было много
поверили белочки в бога
тут и заплакала девочка

за забором тропинка
в некошенный сад
надевает калина
пурпурный закат

среди веток тоскуя
молчит соловей
не поёт аллилуйя
берёзам свечей

в тёплых лужах налита
цветная вода
в небо тянется нитка
отсюда – туда

эту нитку натянет
шершавой рукой
мама в небо заглянет
и скажет: домой

повсюду огоньки да фантики
да пальмы пролетают мимо
а я обратно из атлантики –
в страну угля, берёз и дыма

скучают трезвые попугачики
в глазах их облака пылают
и стюардесса вся на стульчике
себя как кошка умещает

цветная пыль в иллюминаторе
пустой стаканчик из-под чая
я вышла где-то на экваторе
и на звонки не отвечаю

грозы умеренно облачно
спят на полях рисунки
спит медвежонок войлочный
в берестяной шкатулке
спят нераскрытые ножницы
крылья сложили книжки
пуговке чёрной в игольнице
глазиком стать для мишки

заплетай косичку
выходи на речку
там за перемычкой
бродит волк с овечкой

призрак у калитки
открывает святки
отдаст по скидке
патефоны с грядки

зазвенит в париже
а малыш в капусте
улыбнется трижды
за калитку пустят

невесомый мостик
через реку крестик
вымытые кости
скоро лягут вместе

птица вылетит из тучи
белым камушком об лёд
бог большой, он всех научит
у него не пропадёт

ни росинки, ни травинки
ни бездомного кота
он отдаст свои ботинки
и босой сойдёт с куста
пламенея, и робея
перед ним как мотылёк
ты проснёшься, леденеет
в печке сизый уголёк

на плечи ложится снег
липнут друг к дружке ресницы
мне обещал присниться
самый родной человек
нужно спешить домой
сквозь эту белую кашу
там засыпать одной
будет уже не страшно

тихо скрипнет половица
пробежит по телу ток
в приоткрытую ключицу
замурлычет старый кот
там за скважиной замочной
ночь от ночи леденей
санки дочки чертят строчки
всё ровнее, всё верней
тишина все тише тише
над тобой и надо мной
над завёрнутой в пальтишко
не девчачьей, не мальчишьей
опрокинутой страной

спокойной ночи
белел снег
и жизнь касалась
меня казалось
откроешь форточку
хлынет свет
и я там буду
и ты там

Человек мой теплый, мой хороший,
Я тебя с собой не заберу.
Ты уйдешь один по хлебным крошкам
И придешь к вечернему костру.

Посмотри: в нем плавают предметы,
Обретает рукопись покой.
Я уйду в безвременное лето,
Ты из леса выйдешь и - домой.

безнадежный белеющий свет
коридор, процедурный, палата
старики доедают обед
посетителям – только в халатах

за окошком фонтан и цветы
и скульптурно раскинулись ели
подрезает садовник кусты
эти крылья ему надоели

шелестят, не дают слышать птиц
а ты знаешь, какие тут птицы?
у них звезды вместо глазниц
и счастливые юные лица



Анна Харланова.
Закончила Литературный институт
имени Горького, семинар прозы
В.В.Орлова.
Член Союза российских писателей.
Проживает в г. Липецке.

Анна Харланова
г. Липецк

Гроза

Пахнет мокрой землей, безнадегой и горькой полынью.
Гром терзает усталое небо, как бешеный пес.
А испуганный мальчик бежит, разъезжаясь на глине,
Он растрепан, испачкан, устал и не видит от слёз.

Впереди чернота, позади - лучше не озираться,
Мальчик знает, что это опасно - бежать напрямки.
А в пакете его окуньки, штук, наверное, двадцать,
И крючок зацепил за штанину - да как отцепить.

Сердце громко стучит и в ушах отзывается эхом,
Горло высохло - это дыхание сушит его.
И бежит мальчуган от небесного жуткого смеха...
А до дома-то близко, но кажется - так далеко.

Расцарапаны ноги, но боженька не пожалеет,
На веревочке в разные стороны прыгает крест.
Гром становится громче, и ветер становится злее...
И боюсь, что укажет на мальчика огненный перст.

Я молюсь за него, я прошу: не сегодня, не этот,
Пусть босая душа с окуньками домой добежит!
И увидит, что мир милосерден и соткан из света...
Я прошу тебя, боже, пусть мальчик останется жить!

Вскипел в семь тридцать огненный рассвет,
И девочка к нему спешит по полю.
В осенних тувельках по льду немного больно...
И не согреться, и бежать не стоит, -
Поэтому не известно в восемь лет.
Хрустит трава, цепляясь за подол,
Полярный дух горчит, и огорчает
Та быстрота, с которой солнце тает
В алмазном небе и не согревает,
А девочка спешит добраться до
Своей мечты, ей кажется тогда
Проснется мама, снова будет лето,
И детский дом исчезнет как примета
Отчаяния, холода без света,
И смерти нет, не будет никогда.

Аленький цветочек

И тихо тикали часы,
Минуты соком истекали -
Береза так же плачет в мае
В предчувствии большой грозы.
И было поздно сожалеть,
Желанья, наконец, смиряя,
Исполнено - бери, родная,
И осторожна будешь впредь...
Прости, отец, прости, прости!
Цветочек аленький не нужен,
Когда придется отпустить

Тебя к чудовищу на ужин.
Пусть лучше я, пускай - меня...
Кольцо волшебное - на палец,
И мир закружит быстрый танец,
Исчезнет дом и вся родня.
Просила чудо - и приму,
Приму чудовищный подарок,
Цветочек алый обниму...
Сама не знаю, почему
Так манит алый цвет бунтарок.

Пасхальный день

1

Рассыпается чай,
рассыпаются мысли по полу.
Полумесяц кривится улыбкой -
Посланник небес,
Уходи, не сейчас, не сегодня!
На скорой
Врач приедет с уколom...
Сын божий сегодня воскрес!
Значит, эта кривая улыбка - ухмылка инсульта,
И она уплывет, не оставив в душе синяки?
Эту ночь переплыть и причалить у берега утра -
Вот задача простая, когда ты стоишь у реки.

2

Начиналось прекрасно:
В прозрачной предутренней дымке
Занималась заря, и уже просыпались шмели.
Разговелись едва,
Поздравляли друг друга -
И снимки,

Черно-белые фото из памяти вечной зимы.
Узнавали ушедших на них,
Пили воспоминанья,
А шампанское просто в бокалах шипучилось и
Испарялось туда, где нас ждет
Очарованный странник,
Чтобы просто обнять, улыбнуться и снова
спасти.

Я пишу

Ищу слова, брожу вдоль моря,
Ракушки звуков нахожу,
Кораллы сказочных историй.
А рифма с новой рифмой спорит, -
Я разнимать их погожу...
Волнами чувства прибывают:
И освежают, и бодрят.
Отсюда и туда, до края,
Барашки белые считая,
Приходят рифмы невпопад.
Их растолкаю по карманам,
По тайникам своей души,
Оттуда поздно или рано
Их извлеку не для обмана,
А чтобы чудо совершить.

Не понимаю птичьих слов...
Не понимаю слов дождиных...
И только словно ветер в спину
Толкнул - и вспыхнула любовь.
Так вот о чем вы все всерьез?!
Об этом май? Об этом ветер?
И чувство, лучшее на свете,
Приходит фейерверком гроз?

Сбивает пыль обид пустых,
И разбивает все, что хрупко,
И ждет ответного поступка
И слов заветных и простых.
И понимание, как гром,
Приходит и уже не скрыться...
Читаю 'Маленького принца',
А он не ведает о том.

День потерян, и дым - это просто дым.
Ангел с неба мне: ну-ка, поговорим,
Что задумала, может, какой грешок,
Не-хо-ро-шо!

Ангел, миленький, крыльями по щекам
И по темени - это, чего уж там,
Тихой девочке - просто культурный шок.
Не-хо-ро-шо!

Что не так, скажи? Видишь, бежит река,
Катит камушки, солнце и облака,
Дышит нежностью, шепчется камышом...
Нехорошо?!

Пчелы вербушкам песню свою поют,
Это первый их, можно сказать, дебют.
Пьют нектар они даже на посошок.
Так хорошо!

Не ответил мне Ангел, опять молчит.
Время вызрело, лопнуло и болит,
Время вымерло, время - пустой мешок.
Не-хо-ро-шо...



Григорян Лев Арменович, 1980 г.р. Рассказы, сказки и стихи публиковались в журналах «Дарьял», «Веси», «Литературная Армения», «Северо-Муйские огни», «Огни Кузбасса», «Истоки», «Русское эхо», «Изыщная словесность», «Юный техник», «Огни над Бией», «Молоко», «Северный вестник», «Великороссь», «Наша улица», альманахах «Земляки» и др.

Лев Григорян
г. Москва

Начало см. в №2, 3 за 2018 г. и №1 за 2019 г.

Посвящается Анне Ивановне и Льву Николаевичу Фёдоровым

Алое знамя Тальянцевой Веры

Часть 4

Наступили тревожные дни. Немцы теснили фронт. Ростов кипел: шла подготовка к обороне, заводы и фабрики пересоборудовались под военные нужды.

Привычными стали бомбардировки. Отряды пионеров и комсомольцев дежурили на крышах – гасили падавшие фугасы, зажигательные снаряды. В одно из таких дежурств тяжело ранена была Нина Сомова. А жертв становилось всё больше... Прямым попаданием бомбы разрушен был оперный театр – гордость Ростова; под завалами здания погибла родная сестра Анны Никитичны, молодая актриса.

Алёна работала на телефонном узле от зари до зари. Нескончаемый треск аппаратов, песочный скрежет в телефонных трубках, глухая тишь оборванных линий – сопровождали её изо дня в день, а ночью повторялись во снах.

От Лёни пришло два письма. В конце июня он сообщил, что всех их, курсантов гражданского лётного училища, мобилизовали в военную авиацию, и теперь они проходят активную переподготовку.

В октябре Лёня написал про первый свой бой. Им, пилотам, пришлось держать оборону в траншеях, сжимая винтовку вместо штурвала: немцы рвались к Ростову неудержимо. Эскадрилья, где служил Лёня, потеряла до трети своих самолётов (большинство из них враг разбомбил прямо в ангарах) и готовилась к передислокации.

Алёна много раз писала Вере на адрес войсковой части. Верная слову, передавала и новости о Лёне. Письма уходили в никуда. Ответа не было.

Тимур Альбертович и Исабель Эрнестовна трудились теперь в городской газете. Составляли листовки, редактировали воззвания, сочиняли короткие фельетоны о событиях дня, предназначенные для поднятия духа бойцов Красной Армии и горожан.

В ноябре обстановка на фронте стала катастрофической. На Ростов надвигались немецкие танки. Поползли слухи о скорой сдаче города. Затем прошла молва, будто и вся война проиграна бесповоротно: якобы немцы взяли Москву и маршируют победным парадом по Красной площади.

Сводки Совинформбюро, конечно, ничего подобного не подтверждали, но и по ним чувствовалось, что ситуация крайне тяжёлая.

В Ростове прошла эвакуация школ, детских садов, но вывезти успели лишь самых маленьких. Двадцатого ноября эсэсовские батальоны вступили в город. Начались облавы, бессудные казни. Улицы наводнили мародёры, расхищавшие склады, громившие магазины.

Работа советских учреждений была прекращена. Родителей Веры гестапо арестовало прямо в редакции. Как партийцев их должны были расстрелять, но сыграл свою

роль былой дипломатический статус: немцы надеялись вытрясти из них ценную информацию или использовать при обмене военнопленными. Исабель Эрнестовну и Тимура Альбертовича увезли в неизвестном направлении, по слухам – куда-то в германские тылы. Больше Алёна никогда их не видела и ничего не слышала об их дальнейшей судьбе.

Школу закрыли, учеников разогнали по домам. На третий день оккупации в бывшем здании школы разместились немецкая комендатура.

Директор Андрей Евсеич пытался оспорить решение о закрытии школы. Очевидцы рассказывали даже, что он осмелился вступить в пререкания с немецким майором, заместителем коменданта.

Спор окончился плохо. В разгар перепалки к майору подошёл рослый усач, в котором свидетели признали бригадира Фомина с завода подшипников. Фомин, одетый теперь в полувоенную форму без знаков различия, шепнул что-то на ухо майору-эсэсовцу. Майор сделал знак охране. Андрея Евсеевича увели в кабинет, из которого он уже больше не вышел.

Телефонный узел закрылся: у немцев были свои связисты. В довершение бед Алёна осталась без крова – её с больной матерью, как, впрочем, и многих соседей, вышвырнул на улицу немецкий офицер, реквизировавший жильё для себя и своих подчинённых.

Временное пристанище Алёна с матерью нашли в покинутой квартире Веры. Надеялись позже перебраться за город, к дальней родственнице, но нужно было ждать, пока отодвинется линия фронта.

На столбах, на досках объявлений появились листовки со свастикой, агитация против евреев, цыган, партизан... За срыв листовки полагался расстрел.

Бывший товарищ, а теперь господин Фомин возглавил свежесозданный отряд полицаев – прислужников немцев.

Захватчики страшно боялись враждебных действий со стороны населения. Объявлен был приказ коменданта: за каждого убитого немецкого солдата расстреляны будут пятьдесят мирных жителей, за каждого офицера – сотня. Нападения на полицаев карались не менее жестоко.

Это не были пустые угрозы. Буквально на следующий день после выхода приказа был обстрелян неизвестными немецкий патруль. Двое солдат погибли, несколько получили ранения. Ответные меры не заставили ждать. Десятки жителей квартала, где произошло нападение, были вывезены на окраину города и расстреляны.

На седьмой день оккупации на плацу у завода подшипников состоялось «собрание добропорядочных граждан» близлежащих районов. Явка была принудительной: немцы хотели внятно разъяснить населению основы нового порядка. Выступал комендант с переводчиком. Затем на дощатый настил поднялся всё тот же Фомин.

Воздев ввысь здоровенный кулак, сверкая глазами, он произнёс пламенную речь.

— Ростовчане, друзья! – говорил Фомин. – Настало великое время. Кончилось всевластие проклятых большевиков. Отныне, в союзе с немецким народом, мы вернули себе свободу! Конец притеснениям честного люда, конец колхозному строю! Смерть палачам из ЧК! После четверти века страданий и мытарств Россия воспряла от сна. Вы слышали сводку с фронтов? Коммунисты отдали Москву! Что означает это событие? Означает оно, друзья, вот что: начинается новая жизнь. Грядёт подлинное народовластие! Русский мужик, скинув оковы, отвергнув власть гнусавых инородцев, возвращает величие своей тысячелетней Родине! И скоро возрождённая Россия рука об руку с передовой державой мира, великой Германией, триумфально пойдёт по планете...

Фомин говорил, говорил, лицо его покраснелось, но пока он толкал свою речь, переводчик шептал что-то на ухо коменданту, и тот, поначалу непроницаемый, немного нахмурился. Тут же к Фомину шмыгнул щупленький унтер, тронул его за плечо, неразборчиво буркнул, и Фомин, осёкшись на полуслове, замолк.

— В общем, друзья, земляки, порядок превыше всего. Германия подаёт нам пример, — закончил он сбивчиво и сошёл с помоста.

Алёна, стоявшая молча в толпе, смотрела и думала: «Как же быстро меняются люди!»

И вечером, на старой кухоньке бывшего жилища Веры, заваривая пустой бесцветный чай (запасы съестного тоже почти иссякли), Алёна вполголоса говорила матери:

— Не понимаю! Не могу понять. Ну, не верил — его право. Есть сторонники, есть противники. Но вот чтобы так?!

— Осмелели многие, — вздохнула мать, кутаясь в ветхую телогрейку. — Теперь-то, когда Москва пала. Чувствуют вольницу. А нашим ведь дальше куда?

— Как — куда? — возмутилась Алёна. — Ленинград стоит намертво. Куйбышев, Свердловск...

— Ещё Якутск назови, — проворчала мать.

В дверь негромко постучали. Алёна вздрогнула.

— Не бойся, — мать встала, зашаркала к двери. — Фрицы стучать не будут. Поди, из соседей кто.

Но то были не соседи.

На пороге стояла Вера. Алёна ахнула, ринулась к ней навстречу.

Такой она Веру ещё не видела. В ватном полушубке, явно с чужого плеча, в длинной суконной юбке, из-под которой видны были драные валенки... На голове — сбившаяся косынка, не по зимней погоде, едва прикрывала отросшие смоляные волосы. Лицо бледное, исхудалое, но при этом довольное донельзя — и улыбка, и в глазах блестят

искорки, и снежная морось тает, сверкая, на выбившихся из-под косынки прядях.

Это и поразило Алёну: кругом зима, тревога, людское горе, тягостное ощущение проигранной почти уже войны... а Вера словно лучится весной! И дышит надеждой – нет, больше того, уверенностью! – в победе, в том, что вот-вот всё вернётся на правильный лад!

— Алёна! – восклицает Вера, смеясь. Бросается к ней на шею, прижимает к себе, здоровается с взволнованной Алёниной матерью...

— Вера... – как же об этом сказать? где взять сил? – Вера... твоих маму с папой... увезли...

Вера на секунду мрачнеет:

— Знаю.

И больше ни слова. Откуда знает? Что именно знает?

Но нет, кое-что приоткрылось:

— Я в городе с ночи. Успела свидеться с некоторыми... Таню Аварскую видела.

— Так ты откуда? Надолго ли? Что твой отряд – неужели разбит?

— Тсс! – говорит Вера. – Здесь нет посторонних?

Озирается по сторонам. Но в доме пусто: только мать да Алёна.

Убедившись, что опасности нет, Вера делится новостями. Всё, естественно, тайна, под честное слово. Говорит Вера быстро: торопится.

— Первое – главное: немцу не верьте! Москва по-прежнему наша. Не отдали и не отдадим. Агитаторы доктора Геббельса напрасно стараются: не видать немцам нашей Москвы, как кроту рассветной зари.

У Алёны сразу теплеет на сердце.

— Теперь обо мне, – продолжает Вера. – Отряд наш сражается, и я здесь по делу. Зашла в дом на пару минут.

И, не тратя времени даром, Вера решительно шагает к отцовскому столу. Открывает все ящики – но бумаг давно

нет. Наконец под суконной подкладкой обнаруживается тонкая книжица. Вера прячет её за пазуху.

— И последнее. Но не менее важное. Спрячьтесь на ночь в бомбоубежище. Всем своим передайте, под строжайшим секретом. Нет, не всем... только тем, кто надёжен *железно*. Утром Красная Армия выбьет немцев из города. Завтра Ростов будет освобождён.

Мать ахает, прижимает ко рту платок. А Вера начинает прощаться.

— Обожди! – тянет руки Алёна. – Куда ты? Я одну тебя не пушу!

— Нет, – командует Вера. – У меня поручение. Это очень опасно.

— Но я не боюсь! – восклицает Алёна. – Ты одна? Как ты справишься? Если помощь нужна, я готова на всё. Я клянусь!

Вера колеблется долю секунды. Мать, почуяв неладное, пытается удержать Алёну, отговорить... но при Вере неловко. Впрочем, Алёна не слушает.

Вера диктует, краткими фразами:

— Дел лишь на час: смотреть – нет ли слежки. Потом вернёшься домой. Я исчезну, а ты отведёшь мать в убежище. Слушаться будешь беспрекословно. Всё ясно? *Беспрекословно!* Это не шутки. Клянись!

Торопливо Алёна клянётся, в спешке хватая пальто... Рукой на бегу машет матери:

— Не бойся, я скоро!

И вот они с Верой шагают знакомыми переулками. Темно. Не горят фонари. Город угрюм и мрачен. Вера знает куда идти, без промедлений сворачивает то влево, то направо. Движения её экономны.

Останавливается перед столбом. Срывает листовку. На мгновение у Алёны всплывают в памяти мирные времена: как с Лёней и Таней писали они объявления о прощанье кота. Эх... Тот май довоенный ушёл безвозвратно. Мале листовки другие. Свастика, евреи, недочеловеки...

Вера комкает объявление, втаптывает валенком в грязь. Лицо её кривит гримаса гадливости:

— Как народ это терпит? Мерзость...

Путешествие продолжается, но теперь Вера убавила ход: уже скоро комендантский час, и есть риск нарваться на немецкий патруль или кордон полицаев.

Однако всё тихо.

Неожиданно Вера сворачивает за угол. Алёна за ней. Перед ними двухэтажный каменный дом. Во дворе никого.

Вера на миг замирает, прислушивается. Затем заходит в подъезд. В движениях её появляется будто кошачья грация.

Шепчет Алёне:

— Молчи, гляди в оба. Если немец – бежим.

Сердце Алёны стучит часто-часто.

На первом этаже две закрытые двери. Вера, приблизившись к левой, выбивает дробь костяшками пальцев.

Слышны шаги. Голос:

— Кто?

Громко, отчётливо Вера чеканит немецкую фразу. Рука её скользит в карман полушубка.

Дверь открывается. На пороге рослый здоровяк в галифе и армейской рубаше с распахнутым воротом. Лицо его украшают густые усы.

Товарищ Фомин, понимает Алёна. *Бывший* товарищ.

Ни слова не говоря, Вера выхватывает наган – настоящий, чёрный, блестящий. Стреляет в упор. Раз, другой.

Алёна в ужасе отскакивает в сторону.

Фомин раскрывает рот, но сказать ничего не может. На рубаше его расплзается чёрное пятно (полутьма подъезда скрадывает краски). Ноги его подламываются, он тяжело падает у порога.

— Готов, – замечает Вера. Голос её совершенно спокоен, будничен. – Уходим. Спешить не надо.

Алёна трепещет. За минувшие месяцы она часто видела смерть. Падали бомбы, люди гибли на улицах, из-под завалов на носилках, на руках люди вытаскивали трупы и раненых. Смерть витала в воздухе, в разговорах, отголоски её постоянно доносились со страниц газет, из радиопередач.

И всё же до этого дня смерть оставалась безликой. Источник её, рассадник, очаг – всегда был где-то далеко: летели над городом юнкерсы, на далёких фронтах врукопашную бились солдаты. Своими глазами Алёна не видала боёв, не присутствовала при расстрелах, расправах. И вот теперь...

Он враг, убеждает себя Алёна. Он был враг. Предатель, изменник. Поделом изменнику Родины.

Но губы сами собой выговаривают другие слова.

— Вера, ты... так его... А раньше над каждой зверушкой дрожала. Всякую жизнь берегла.

Вера, не оборачиваясь, весело фыркает:

— Зверушек мне и поныне жаль. А *зверей* – нет.

Сзади раздаются возгласы, топот бегущих людей – видно, услышали выстрелы. Но всё это слишком уже далеко; Вера с Алёной успели пройти уже пару кварталов. Погони нет.

Алёна всё думает об убитом. Кивает Вере.

— Так странно... Он летом так хорошо говорил. А потом в полицаи пошёл.

— Собаке собачья смерть, – хладнокровно бросает Вера. – Я днём была на плацу. Как он немцам осанну пел, соловьём разливался! Тьфу! Партбилет себе, видимо, спрятал...

Вера сказала, куда спрятал. И эта простоватая резкость неприятно поразила Алёну. Да, фронт меняет людей. Раньше Вера такой не была. И всё-таки, несмотря ни на что, оставалось в ней что-то от прежней Веры.

Алёна заметила – когда Вера прятала наган за отворот полушубка – знакомый шнурок на шее подруги.

Конечно: при ней её любимый значок. Серп и молот, алое знамя, СССР, непонятное СХС. Какой надо быть отважной, чтоб носить его на себе в оккупированном врагами городе! И какой вызывающе глупой!

— Сейчас приготовься, – внезапно говорит Вера.

Алёна оглядывается: знакомые места. Впереди выступает из тьмы здание их старой школы. Окна желтеют огнями. Отсюда до них метров сто.

— Фашистская комендатура, – тихо добавляет Вера.

Алёну вдруг бросает в пот.

— Что ты собираешься делать?

— Застрелю коменданта. Обезглавлю немецкую гидру. Надо дезорганизовать штаб врага перед наступлением наших. Стой здесь, дальше не ходи. Если кто появится с той стороны, крикни по-птичьи, я затаюсь. А услышишь выстрел, развернись и спокойно, шагом, иди домой к матери. Всё поняла?

Алёна подалась вперёд, подошла к Вере вплотную:

— Нет! Не смей, остановись.

— Что такое? – брови Веры поползли вверх. Глаза полыхнули гневом.

— Нельзя, не надо... – лихорадочно зашептала Алёна. – Тебя убьют. Там охраны полно. Это ж комендатура, не глухой жилой дом на отшибе...

— Ты что? – изумляется Вера. – У меня приказ.

— Ты о местных подумай! – отчаянно шепчет Алёна. – На днях за двух фрицев сто человек расстреляли. А за коменданта – полгорода перебьют. Приказ их читала? Подумай, тут дети, старики рядом... их вывезти не успели...

Лицо Веры темнеет от ярости.

— Алёна! Ты струсила? Так и скажи! Это ново. Я тебя совсем другой знала. Qué sorpresa!¹ Ты, кажется, плохо слышишь: я сказала, у меня боевое задание! Поверь, наши не дураки. Всё просчитано. У карателей не останется

¹ Каков сюрприз! (исп.)

времени мстить. Наступление начнётся через считанные часы. Утром Ростов будет наш.

— А если нет? — столь же яростно отвечает Алёна. — Если сорвётся?

Ей страшно за Веру. Она понимает: убить коменданта и ускользнуть — шансов нет. Это верная гибель.

— Прекрати живо панику! — командует Вера. — Ты же клятву дала. Помнишь? «Беспрекословно!»

— Чёрт с ней, с клятвой! — на глазах у Алёны появляются слёзы. Это слёзы бессильной злобы.

— Вот как, значит? — голос Веры меняется. — И ты смеешь защищать палачей? Или ты, как этот Фомин? Для тебя пустой звук — коммунизм, верность Родине, алое знамя?

«Плевать мне на алое знамя! — хочет крикнуть Алёна. — Ты погибнешь, дура героическая!» — но молчит, понимает, сказать так — предательство. И уже ничего не поправишь. Никогда, ни за что...

Вера прижимает рукавицу к глазам. Говорит — глухо, с горечью, с болью.

— Ведь мы же были подруги, Алёна... Подруги навек...

Она поднимает взор на Алёну. Мгновение — глаза в глаза, как перекрёстный огонь, как дуэль острых шпаг...

И Алёна, не выдержав, отступает. Щёки её алеют, как от удара. Верин взгляд — что пощёчина. Хлёсткая, звонкая, беспощадная...

— Подло это, Алён, — еле слышно говорит Вера. И, повернувшись спиной, чуть ссутулившись, идёт прямо к комендатуре.

Алёна смотрит ей вслед, не в силах тронуться с места. Всё кончено. Погибла дружба. Сейчас погибнет и Вера.

На секунду вскипает надежда; Алёна вертит головой: о, если б появился прохожий, пусть даже немец,

фашист, – можно было бы крикнуть птицей, остановить ещё Веру...

Но всё кругом глухо, безлюдно.

Подать ложную тревогу? Нет, это и будет настоящая подлость. И Алёна молчит. Молчит и смотрит, как тонкая девичья фигурка приближается к освещённым окнам.

Вера идёт ровным шагом – ни быстро, ни медленно. Вблизи окон склоняется, чтоб её не заметили. Подходит к школе почти вплотную. За углом, где парадный вход, должны стоять часовые. Их отсюда не видно, но ветер доносит немецкую речь. Странно, что подступы к комендатуре так слабо охраняются. То ли враг настолько уверен в своих силах, то ли и здесь безалаберность...

Вера – отсюда такая маленькая – почти слившись со стеной в темноте, добирается до самого угла и, должно быть, осторожно выглядывает, всматриваясь в часовых, – но Алёне этого уже не разобрать.

А потом в небе появляется гул, нарастает, и над городом вдруг проносится клин самолётов. Алёна задирает голову. Самолёты летят низко. В мертвенно-чёрном небе их выхватывает жёлтый луч далёкого прожектора, и Алёна замечает на крыльях красные звёзды.

«Наши! Наши летят!» – хочет крикнуть Алёна.

Самолёты проносятся прямо над школой. Один из них роняет бомбу, затем другой, третий...

Алёна зажимает уши от нестерпимого грохота, видит, как земля на школьном дворе встала дыбом... Крыша школы вспыхивает пожаром.

Самолёты уходят, они всё дальше. Земля всё ещё дрожит под ногами. Все звуки сливаются воедино. И всё-таки сквозь сплошную шумовую завесу Алёна различает хлопок. Выстрел. Ещё один! Истошные крики – по-немецки. Брань, отчаянный свист...

Где Вера? У стены? За углом? Бежала? Убита? Ничего не видать!

Алёна, забыв обо всём, бросается к школе, но тут на дворе появляются немцы – бегут врассыпную, кричат. Въезжает, сигнали фарами, немецкий автомобиль, и Алёна кидается наземь ничком. Замирает: только бы не заметили, только бы не заметили!

Грязь, леденящий холод. Но Алёна лежит, боясь шелохнуться. Время остановилось. Может, час прошёл, может, год. Понемногу голоса затихают, беготня прекращается. Слышны лишь отдельные фразы – резкие лающие. Алёна разбирает: полковник... полковник... ранен... где врач?.. партизаны...

О Вере ни слова. Одно лишь понятно: если Вера погибла, ей уже не помочь, а если спаслась, то давно уж не здесь. И понемногу, по-пластунски, Алёна отползает – дальше, дальше от школы...

А потом, окоченевшая вусмерть, промокшая до костей, вся перепачканная в грязи, бредёт потихоньку домой. И мать, уже не чаявшая увидеть её живой, обнимает Алёну, прижимает к груди, причитая и плача...

* * *

Наутро я напомнил бабушке о давешнем разговоре.

Мы снова сидели на кухне. Но теперь уже солнце светило нам в окна. Подходил к концу завтрак. Бабушка пила простоквашу из высокой чашки, украшенной сценками из сказок Андерсена. Я налегал на печенье.

— Ты рассказать обещала, как Вера Тальянцева с классом сошлась, а Юру Прошина выгнали.

Но бабушка нынче не в духе. Плохо спала, и сердце колело. Видно, растравили ей душу воспоминания.

— А что рассказывать, – вздохнула она. – На дерево Вера полезла, дурного кота снимать. А Юрка Прошин в неё каменюкой пальнул. Упала она, рёбра переломала, еле жива осталась. Ну, ребята к ней потеплели тогда: самоотверженная, ради твари чужой рисковала. А Юрку за хулиганство из школы турнули. Вот и весь сказ.

Я задумался. Было чувство: за скупостью бабушкиного рассказа кроется что-то ещё. Будто бабушка что-то утаивает. Но что? Вероятно, плохую развязку. Всё, наверное, кончилось мрачно. Тяжело вспоминать о потерях.

И всё же, ощущая себя бестактной скотиной, я спросил напрямую:

— А в войну как? Вера погибла?

Бабушка отставила в сторону чашку и взглянула на меня удивлённо:

— С чего ты взял?

Я наострил уши, а бабушка продолжала:

— На второй день войны Вера в добровольцы ушла. Воевала, ранение было. Партизанила в Белоруссии. В Ростове у нас только раз появилась. Ростов в те дни под немцами был. И накануне прихода наших, командование заслало Веру с опасным заданием: уничтожить немецкого полковника.

В тот самый день мы и свиделись. Да только между нами размолвка случилась. Разрыв. Там риск был огромный, и я её удержать хотела в последний момент. Но разве ж её удержишь?

Бабушка горько вздохнула.

— Потом уже – наши пришли, немцев выбили, и мы по расспросам и слухам узнали: Вера с заданием справилась. Четверо диверсантов было в их группе, у каждого свой приказ, на своём участке. Трое погибли, а Вера невредимой ушла. Воссоединилась с отрядом и дальше на Чалтырь двинулась.

Много позже, через случайных знакомых, донеслись вести, что Вера всю войну отшагала, до самой Победы. Освобождала Краснодар, Симферополь. Федька Граев рассказывал, как повстречал её под Сапун-горой. Но в наши края она уже не вернулась. Так мы, толком, считай, и не виделись больше.

Бабушка замолчала. Лицо её потускнело, заметнее стали морщинки.

Я тоже молчал. Что тут скажешь? Бывает, что рушится дружба. Мне, как, наверно, и каждому, тоже доводилось терять друзей. Люди сходятся, люди расходятся. Иногда расстаются по-тихому – просто жизнь развела, разошлись интересы. Иногда со скандалом, с обидой.

Я порой даже думал: ведь странно, но бурный разрыв чем-то лучше вялого угасания чувств. Если искры летят и обида за сердце берёт, значит, всё же друг другу вы дороги, что-то есть между вами по-прежнему – настоящее, искреннее.

А когда друг просто медленно отдаляется, начинает реже звонить, не находит минутки, чтоб встретиться, и в глазах его скука или отблески новой мечты, зовущей его, не тебя, а тебе непонятной, неблизкой – значит, дружба ваша мертва, хотя вы и не ссорились. Просто стали чужими друг другу. И от этого горько и пусто.

* * *

Испанский я завалил. Перепутал формы глаголов, дал неправильный перевод чересчур навороченной фразы... В общем, с явственным наслаждением Розгачёв мне вlepил незачёт и отправил на пересдачу.

«Ладно, – подумал я, заглушая досаду. – Простудирую тщательней – сдам. А пока будет повод снова к бабушке съездить. Испанский она и впрямь ещё помнит».

Но прежде чем вернуться в городок, где прошло моё детство и где теперь одинокой вдовой жила бабушка, я решил проверить одну догадку.

У меня мелькнула шальная мысль: а что если Вера, старинная бабушкина подруга, ещё жива? Что если её можно найти, разыскать? Ведь сейчас – интернет, великая вещь! Соцсети, базы данных с адресами выложены в

открытом доступе. Всё просто – набрать в строке поиска имя, фамилию, пролистать, сколько выпадет ссылок...

Я рассудил так. Конечно, шансов, что Вера жива, очень мало. Ей сейчас было бы лет девяносто. С другой стороны, если мне повезёт, и если с Верой удастся связаться (например, у неё могут быть внуки, как и я, знающие толк в интернете) – возможно, за минувшие годы та давняя ссора для неё потеряла значение.

Шутка ли – семьдесят лет пролетело! Кто способен так долго лелеять обиду? В юности кровь горяча, люди непримиримы, но проходят года, появляется понимание, какая-то, что ли, терпимость друг к другу...

И может случиться, что старая ссора теперь покажется глупой, наивной, не стоящей упоминания. Может быть даже, Вера захочет встретиться с бабушкой? Или что-то ей передать на словах? Для бабушки это бы стало великой радостью, решил я.

Ну а если поиск успеха не даст, или окажется, что Веры давно нет на свете, – что ж. Огорчать бабушку я не стану и умолчу о своей попытке. Пусть всё остаётся как есть.

Сделав такое умозаключение, я приступил к делу. Включил ноутбук, вызвал поисковик. Вбил в окошко два слова – «Гальянцева Вера».

Результаты – перед глазами. Одна ссылка, другая, третья... Вот учительница средних лет. Вот студентка с длинной косой. Вот рассказик о бывшей актрисе времён Гражданской войны. Ещё мемуары какого-то сталевара. Всё не то, всё не то...

Открывались разные фотографии. Одна показалась было немного похожей: высокая девушка, волосы до плеч, чёрные. Но нет, *эта* Вера была даже младше меня.

Я долистал до конца. Энтузиазм мой угас. Надеяться было глупо.

На миг я попробовал представить Веру старухой – согбенной, выцветшей, дряхлой. Получилось не очень. Ну, может, и к лучшему.

Я собрался уже отключить ноутбук... Как вдруг меня осенило!

В самом деле, ну я и тупица! Ведь Вера могла выйти замуж. А в те времена крайне редко случалось, чтоб жена отказалась брать фамилию мужа.

Значит, надо искать не Тальянцеву. Но кого? Как узнать, за кем замужем Вера? Если замужем. Если жива. Если, если... Как же всё зыбко! И задачка, выходит, стала только сложнее.

В этот миг в моей памяти всплыла недавняя бабушкина фраза. Последнее, что она мне сказала о Vere. «Мы, толком, считай, и не виделись больше».

«Толком»! Я-то сходу решил: больше не было встреч, всё, конец. И лишь теперь вот сообразил: отрицание не категоричное. Может, встретились на бегу? Может, были какие-то письма? Может, виделись, но не стали возобновлять знакомство?

Да, пожалуй, придётся ещё раз расспросить бабушку. И, может быть, она знает, была ли замужем Вера.

Спрошу, решил я, поаккуратнее как-нибудь. Может, что прояснится...

* * *

Увы, надежды мои не сбылись. Да, Веру бабушка видела. Коротко. Один раз. В сорок восьмом году, в Зернограде. Да, они говорили. Нет, Вера замуж не вышла.

Писем не было, и быть не могло. Вера погибла. В том самом сорок восьмом. В Ашхабадском землетрясении. Одним из страшнейших землетрясений двадцатого века.

Больше искать было некого.

Алёна вошла в класс уверенно.

Ребята гурьбой окружили её.

— Алёна Ивановна! Алёна Ивановна! А генерал точно придёт?

— А он в финскую воевал?

— А цветы ему можно дарить?

— Отчего же нельзя? — улыбнулась Алёна.

— Ну, он ведь не женщина! Вдруг обидится!

Класс готовился к встрече с фронтовиком. Из райкома звонили; обещали, придёт генерал Сидоренко, побеседовать с пионерами. После войны уделялось много внимания патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Зерноградские школы подхватили почин.

В назначенный час ребята собрались в актовом зале. Там, в красном уголке, как водится, стоял бюст вождя. По бокам два красных знамени. Портреты на стенах.

Мальчишки притихли. (Девочек в классе не было — шла эпоха раздельного обучения.) Алёна Ивановна потихоньку спросила у завуча время — свои часы были в ту пору редкостью. Генерал ошутимо запаздывал.

Дверь внезапно открылась, и директор ввёл в зал стройную девушку в скромном бежевом платье.

— А где генерал? — послышался шёпот. — Это кто?

— Комсомолка какая-то.

— Вожатая новая? Тоже на генерала посмотреть хочет?

Ребята шушукались, учителя переглядывались в недоумении, и только Алёна сидела как каменная. В висках у неё стучало, кровь прилила к голове, стало душно.

А директор, подведя гостью к председательскому столу, уже говорил что-то, и слова его долетали до Алёны будто издалека.

— ...выступить Василий Степанович, боевой ... Но ... приболел, к сожалению ... Согласилась участница ...

капитан, фронтовичка... Тальянцева Вера Тимуровна. Поприветствуем ...

Вера взглянула на Алёну в упор, и губы её тронула чуть заметная улыбка. У Алёны отлегло от сердца.

Среди школьников меж тем нарастал разочарованный ропот. Как же так! Ждали настоящего генерала, а тут...

— И даже ни одной боевой награды! – шепнул кто-то рядом. – Только значок октябрятский какой-то...

Но Вера заговорила, и голос её, мелодичный, сильный, заглушил вскоре всякое недовольство. Затаив дыхание, пионеры слушали рассказ о партизанской жизни, о тяжёлых боях под Ростовом, о том, как разбитый Верин отряд десять суток пробивался к нашим войскам, пока не соединился с действующей армией. О том, как спасали, выхаживали упавшего лётчика. И как освободили деревню, где из живых остались только мальчик Иван да рыжий котёнок. И как взяли в плен немецкого офицера, а потом оказалось, что это наш, переодетый разведчик с секретным заданием из самой Ставки Верховного Главнокомандования...

Постепенно ребята осмелели, посыпались вопросы, завязалась беседа. Вера охотно всем отвечала – чаще сходу, бойко, иногда на мгновение призадумывалась.

Алёне запал в душу один ответ.

— А что самое страшное на войне? – спросил пятиклассник Коля Кулибин, долго тянувший руку.

— Для всех по-разному, – начала было Вера.

— А для вас? – перебил её Вадик Потоцкий, октябрёнок, неведомо как пробравшийся в актёрский зал.

Вера помедлила.

— Для меня... Страшно было, когда гаснет пламя...

— В землянке? В окопе? На пожарище после бомбёжки? – разом вопросы со всех сторон.

— В сердце, – Вера приложила ладонь к груди. – Когда вдруг замечаешь, что из человека ты превратился в

машину. Ходишь, действуешь на автомате. Убиваешь на автомате. Умом понимаешь, зачем это нужно, в чём сейчас боевое задание, ради чего это всё. А в душе пустота. Всё угасло – ни ненависти к врагу, ни любви к...

Тут Вера запнулась. Не всё скажешь детям. И надо растить патриотов. К чему им чужие сомнения? До сомнений надо ещё дорасти. Своим умом, не с чужого плеча.

— До войны я машины любила, – призналась вдруг Вера. – Трактора, самолёты, подъёмные краны. Их великую силу и мощь. А теперь не люблю. Впрочем ... это пройдёт. Всё проходит. – Она улыбнулась, но как-то невесело. – А ещё было страшно, когда гибнут товарищи. Страшно терять друзей навсегда. Знать, что это непоправимо. И особенно тяжело, если с другом вы перед этим поссорились. Всякое ведь бывает в отряде. Мелочи, быт, ожидания, что не сбылись... И вот – поругались, а помириться уже не успели. Ты дальше живёшь, а друга уж нет, и отныне меж вами навечно – непрощённость, недоговорённость... Словно камень на сердце.

Алёна слушала эти слова, и её охватило странное чувство: не к ребятам сейчас обращается Вера, а к ней, Алёне, подруге детства. К ней одной.

— Что ж, ребята, спасибо за встречу, – закончила Вера. – А сейчас я должна уезжать. Поезд через двадцать минут. Ведь я в Зернограде почти что проездом.

Зазвучали слова прощания, благодарности, приглашения приезжать ещё...

Алёна не помнила, как они с Верой оказались вдвоём в коридоре. Вера и вправду спешила.

— Я тебя провожу, – сказала Алёна.

— Уж не чаяла свидеться, – улыбается Вера. Смотрит открыто, весело. – А ты изменилась! Похорошела. Ну, рассказывай же!

Алёна кивает. Изменилась, конечно. В войну настрадалась, потом был университет. Свадьба с Лёней. Он

лётчик, по-прежнему в армии. Остался служить. Их часть переводят с места на место. Вот, теперь в Зернограде. С жильём кое-как, но есть перспективы. Сама вот ныне учителем... Но это всё мелочи; главное – сын. Маленький Серёжа ждёт дома, полтора годика, а такой уже шептунной...

Вера слушает. Улыбка её не гаснет, но в глазах затаилась печаль.

Они идут по весенним улицам, впереди – коробка вокзала. Вот перрон, но осталось ещё пять минут.

И Алёна вдруг понимает: Вера всё та же. Ни фронт, ни годы не изменили её. Даже внешне: когда познакомились, в том далёком тридцать восьмом, Вера казалась старше всех сверстников. Теперь же наоборот: будто всё ещё школьница. Словно время её не берёт. А значит...

Алёна вдруг замолкает. И внезапно охрипшим голосом спрашивает:

— Скажи... Наша ссора... Тогда, перед комендатурой... Ты по-прежнему считаешь, что я...

Вера протестующе поднимает руку.

— Стой. Всё, что было... Ты была не права, я была не права. Мы обе. Я помню, всё помню. Забыть тяжело. Но я больше зла не таю, и ты не таи. Хорошо?

И Вера протягивает Алёне ладонь.

— Что же, снова подруги? – Алёна ещё не уверена.

— Para siempre! – смеётся Вера.

Раздаётся гудок. Громыхая колёсами, приближается поезд.

— Ты ж о себе и не рассказала толком! – спохватывается Алёна.

— Ну, здравствуйте! – смеётся Вера. – Битый час перед пионерами речь держала!

— Да я не о том... Куда ты теперь?

— В Апхабад. Там я обосновалась пока. Знаешь, многое хочется рассказать, – голос Веры теплеет. – Жаль, так времени мало. Ведь столько было всего! Не только

парадные эти реляции перед детворой. Столько ужаса, крови, предательства, и среди всего этого настоящая жизнь – неистощимая, вопреки всему...

— Хоть в двух словах расскажи, – просит Алёна.

Поезд останавливается. Кругом бегут люди, кто с поклажей, кто налегке. Свистят кондукторы в синих фуражках.

— В двух словах... – колеблется Вера. – Знаешь, ведь на фронте я лгать научилась. Поняла, сколько лишних условностей... мишуры всякой... Есть важное, есть неважное. И всё равно поначалу так гадко было! Словно в грязь окунула алое знамя!

— Но ведь веришь по-прежнему! – замечает Алёна.
– А с личным как?

— Да никак, – мрачно фыркает Вера. – Есть поклонник, всё замуж зовёт, отставной зенитчик, только сердцу ведь не прикажешь. Всё пустое. Не будем о том.

Звучит сигнал к отправлению. Но посадка ещё продолжается. Вера с Алёной подбегают к ближайшей вагонной двери.

— Так хотелось бы дольше поговорить! – с досадой бросает Вера. Вспрыгивает на подножку. Оборачивается к Алёне.

— Адрес дай! – просит Алёна. – Я тебе напишу.

Вера называет улицу, дом...

— Я приеду! – кричит ей Алёна. И видит, как Вера бледнеет.

— Нет, нельзя, не сейчас! – перекрикивая шум, просит Вера, говорит невпопад. – Может быть, через год. Не сейчас. Ах, зачем я дневник-то сожгла! Погоди, давай так! Я сама тебя найду. Хорошо?!

Резкий свист. Поезд трогает с места.

— Клянёшься? – кричит вслед Алёна.

— Алым знаменем! – отвечает Вера. И, тряхнув головой, отбрасывает со лба непокорные чёрные волосы.

Такой Алёна её и запомнила. Навсегда.

* * *

В тот же год стряслась катастрофа. Невиданной силы землетрясение уничтожило Ашхабад. Город сделался братской могилой.

Алёна писала на названный адрес. Обращалась в справочное бюро. Терзала партийный реском. Наконец, добилась ответа из последней инстанции: дом разрушен, выживших нет.

* * *

...И снова я дома у бабушки. Сижу у её постели. Рядом мама и папа.

Бабушка в забытьи. С ней случилась беда.

Привычный поход в домоуправление за какой-то дурацкой бумажкой окончился плохо. Бабушка упала, оступилась. Сама не смогла подняться, прохожих поблизости не было. Прележала полчаса на октябрьской стуже. Звала на помощь, никто не услышал. Городок давно уж не людный, старики вымирают, молодёжь тянется в мегаполисы. Да и час был вечерний, фонари не горели.

На счастье, появилась какая-то студентка, помогла бабушке встать, дотащила до дома. Там уж вызвали врача, позвонили родителям, мне.

Но испытание не прошло для бабушки даром. Поднялась температура под тридцать девять, началась горячка. Прогноз был неутешительный.

Мама, перепуганная, несчастная, каждые полчаса давала бабушке пить. Меняла компрессы на лбу. Корила себя, что так долго терпела бабушкину тягу к самостоятельности.

— Всё сама да сама! Давно надо было – либо её к нам, либо нам к ней.

Я сидел и думал: так уж воспитано было их поколение. Всё сами, от начала и до конца. И жизнь в беспрестанном труде, и вера в идеалы, в коммунизм, в

справедливость. Привито всё накрепко – не отнять и не переделать.

Я вспомнил, что и сам когда-то искал идеалы на страницах истории. В детстве читал про королев-императоров. Потом увлёкся идеями равенства, симпатизировал советскому строю. Затем наслушался про лагерь, зауважал диссидентов. И наконец, повзрослев, охладел к ним ко всем, вместе взятым.

Есть теория в биологии, помню, что каждый человек в своём развитии проходит стадии, присущие всему биологическому виду. У эмбриона в утробе матери отрастает хвост, потом исчезает: ребёнок повторяет путь человечества.

И я подумал: а ведь что-то подобное есть и в духовном плане. Сон разума, наивность и первобытная жестокость, свойственная порой трёхлетним детям. Затем идеалы, искания, трепет юности, её максимализм и тяга к простым, радикальным решениям. Потом усложнение, осознание: мир не так прост, и жизнь вовсе не чёрно-белая. Но платой за понимание становится душевная вялость, неспособность к высоким порывам. Двадцатилетние романтики, как известно, к сорока годам превращаются в закоренелых консерваторов.

И вот, эпоха моих деда с бабушкой была, наверное, юностью человечества – в чём-то страшной, жестокой выше всякой дозволенной меры, а в чём-то при этом возвышенной. И самое для меня удивительное, что люди той, ушедшей ныне эпохи сохранили юность души до преклонных лет. Как это им удалось – не знаю. Хорошо это, плохо ли – не ведаю...

* * *

...Бабушка что-то бормотала в бреду. Временами речь её становилась бессвязной. А то наоборот – звучали слова разборчивые, но от этого ещё более странные, пугающие.

— Вера... – говорила бабушка. – Я ведь знала... Когда-нибудь... Знала... Не обманет. Алое знамя... Дождалась... Пришла, дотащила...

Родители мои переглянулись. Мне стало совсем тоскливо. Тяжело видеть близкого человека в таком состоянии.

Должно быть, в бабушкином сознании спутались годы, образы, и ныне ей грезится, будто студенточка, что помогла добраться до дому, была той самой Верой Тальянцевой. Той самой, что сгнула семь десятилетий назад.

Я задумался: упоминала ли бабушка Веру в последние месяцы? Нет. С минувшего декабря, когда я завалил испанский, больше мы не касались той темы.

Хотя с языком мне бабушка помогла прилично. К лету я подтянул испанский настолько, что взялся спорить с самим Розгачёвым. Что удивительно – переспорил! И несгибаемый Розгачёв с ещё более явственным удовольствием, чем при декабрьском незачёте, поставил мне за экзамен «отлично»!

— Вера... – пробормотала бабушка снова. – Лёня... Алёна...

* * *

Трудно поверить, но гроза миновала.

После двух дней горячки температура у бабушки спала. Потом была страшная слабость. Но бабушкина деятельная натура взяла верх, и несколько дней спустя бабушка уже довольно бодро ковыляла по квартире, опираясь на палку.

— Поправилась, – говорила она в своей обычной шутивно-горделивой манере. – Всем чертям назло!

«Надолго ли?» – с тревогой и грустью думал я. Но старался гнать от себя мрачные мысли. В конце концов, бывает, люди и по сто лет живут, а кто-то и дольше.

Эта мысль всколыхнула что-то в моей памяти. Я вспомнил, как бабушке во время болезни привиделась Вера.

Выбрав момент, я осторожно спросил:

— А та девочка, которая тебя у домоуправления подняла... Ты её раньше видела?

— А что? – живо обернулась бабушка.

— Ну... Может, она на кого-то похожа, – пробормотал я, жалея уже, что затеял этот разговор.

— Давай, договаривай, – велела бабушка деловито. Она во всём любила ясность.

— Ну, ты, просто, в горячке говорила... всякое...

— А именно?

— Вроде как если та девочка – Вера Тальянцева, что-то такое, – борясь безуспешно с косноязычием, объяснил я.

— Это я так сказала? – удивилась бабушка, впрочем, нимало не огорчившись (я вздохнул с облегчением).

Бабушка прошла в коридор, где висели пальто и шубы. Что-то нашарила там в темноте. Затем обернулась ко мне.

— Веры на свете давно уже нет, – наставительно сказала бабушка. – А это была её правнучка.

— Как правнучка? – изумился я.

— Вот, – бабушка протянула мне чуть дрожащую старческую ладонь. – Она мне вручила.

На ладони лежал блестящий значок. Звёздочка. На ней серп, и молот, и алое знамя. И буквы – СССР, а ниже – СХС.

— Говорила: «Я знаю: прабабушка завещала, чтобы этот значок у вас был».

— погоди! – я опешил. – Здесь что-то не сходится. И откуда правнучка? Разве были у Веры дети? Или она в Ашхабаде тогда не погибла? И главное: как эта правнучка тебя-то узнала? И как сумела прийти в тот самый момент?..

Бабушка флегматично пожала плечами.

— Шут её знает. Мне, понимаешь, не до расспросов было, Денис. Приедет – расскажет, надеюсь.

— Как приедет?! – я не знал, что и думать. Тревога за бабушку вспыхнула с новой силой. Неужто болезнь всё же сделала своё дело? Но откуда тогда значок?

— Обещала на Новый год заглянуть. Снова будет проездом.

— Обещала? – переспросил я.

Бабушка улыбнулась, но сказала серьёзно:

— Поклялась алым знаменем!



Хомич-Журавлёва Ольга Ильинична родилась 21 марта 1966 года в г. Северодвинске Архангельской области. В 2000 году переехала в г. Анапу. Инициатор создания литературного альманаха "Парус" и впоследствии - его главный редактор, выпустила № 6 – 10. Создатель и руководитель молодёжного литобъединения "Авангард" с 2011 г. Серебряный лауреат Международного Берлинского литературного конкурса русскоязычных авторов «Лучшая книга года – 2017» - номинация «малая проза», книга «Галерея неудачников». Автор более десятка разножанровых книг.

Ольга Хомич-Журавлёва **г. Анапа**

Когда кончаются проклятья,
И утихают в спешке бури,
Находишь новое занятие –
Лепить словесные скульптуры.

Растут крутые изваянья,
Обогащая душу светом.
В награду за твои старанья
Вдруг назовут тебя поэтом!

И словоблудием страдая,
Начнёшь оттачивать уменье,
Сор слов ненужных отменяя
И обретая вдохновенье!

И вот тогда из словопрений
Души и внутренних терзаний,
Быть может, и родится гений
Без пафоса и притязаний...

Скинхеды, дама и грузин

Некая Дама пошла в магазин -
Так вот обыденно - просто.
Ей повстречался красивый Грузин
И пригласил ее в гости.

Дама в смятении - квартал пройдешь -
Будут эклерчики с кремом.
Но и Грузин был уж больно хорош...
Вот ведь какая дилемма.

Дом у Грузина поблизости был,
Он приходил пообедать.
Но у подъезда кучкой верзил
Вечно торчали «скинхеды».

Дама, по счастью, попалась ему
Крупного телосложения.
Бритоголовым такая «Ля МУР»
Может внушить уваженье.

Вдруг «сумоистка» его защитит
От приставучих «бугаев»?
Только потом как толстуху «отшить»?
Вот ведь дилемма какая...

Вдруг захотелось выглянуть в окно -
Рассвет, закат - какое в мире чудо?
Все то, что мне казалось раньше сном,
Сегодня да в реальности пребудет!

Вдруг захотелось вымыть чистый дом,
Расставить по местам цветы и книги -

Весь нудный быт, что я терплю с трудом,
Стал полон притягательной интриги.

Вдруг захотелось позвонить друзьям
И поболтать, не глядя на тарифы.
И целоваться с другом - пусть нельзя -
В спортзале, приперев упрямца грифом.

И с шиком пролететь по бутикам,
И квадроцикл приобрести иль скутер...
Ну не крути, с испугом, у виска,
Ведь просто поломался мой компьютер...

Сама

Для экономики страны
Живу как будто понарошку.
Сама себе сошью штаны
И посажу себе картошку.

Сама себе свяжу носки,
И научу себя наукам.
И книги - долгие листки -
Я напишу сама от скуки.

Сама себе построю дом,
Рожу сама себе ребенка,
Сама обзаведусь котом,
А так же мужем и болонкой.

И буду выживать сама
В бесчеловечнейших реформах,
Пытаясь не сойти с ума -
Сама себя спасая в штормах.

И вот за то, что я сама
Себе могу «позволить» много,
В награду, милая страна,
Сама дерет с меня налоги...

Безмерность лет, неся любовь
К родной земле, к озёрам синим,
Хранят покой, сквозь боль и кровь –
Сыны и дочери России.

И погибая в сотнях войн,
Вновь возрождаются из пепла...
Трагедий боль... Но испокон
Веков Россия только крепла!

И шрамы прятали поля,
И в семьях воцарялась радость...
Россия, Матушка Земля –
Ты лучшее, что нам досталось!..

Когда перестаешь смотреть на звезды,
В себя вбирая серость суеты,
Тогда отягощают, словно грозди,
Дела, обвесив тело, как кресты.

Тогда ты забываешь о полетах,
Не только наяву, но и во сне,
Мечтая о деньгах, о своде счетов,
О плотской страсти тела, о вине.

Все сводится к свободе заточенья,
В своих безмерно хрупких миражах,
Где от реальной воли - отречение -
Фатальностью в невидящих глазах.

Когда перестаешь смотреть на звезды,
Как червь, зарывшись в землю, на века
К Любви взлететь пытаешься. Но поздно!
Ведь вместо крыльев за спиной - труха...

Я буду тебя любить
Так дерзко и слишком смело.
И Ангелов этим злить –
Что наперекор посмела.
Мол, не предназначен мне
Любовный полночный праздник,
Что лишь по моей вине
Развратник ты и проказник.

Я буду тебя любить!
Пусть мир ополчится разом,
Пытаясь в нас догмы вбить,
Склоняя тебя к отказам,
Пытаясь за нас решать,
Как жить и во что нам верить,
Что вредно, что можно знать,
Уча ловко лицемерить.

Я буду тебя любить.
Пусть правят счета и сметы,
Где можно любовь купить,
Как пиво и сигареты.
И можно хоть волком выть,
В безжалостном мире «жести»...
Я буду тебя любить -
Мы живы, пока мы вместе...

Зима в Анапе

Здесь тоже глубокий снег,
Так странно, но вот, бывает.
И жизнь замедляет бег
И небо с землей сливает.

О, где я, узнать бы мне!
В каких облаках витаю!
В какой неземной стране
Шедевру зимы внимаю!

Под тяжестью белых шуб
Прогнулись тревожно туи.
Для них снег тяжел и груб...
А я весь пейзаж смакую:

И белый каскад аллея,
Осыпанный щедро снегом;
И белую даль полей;
И горы - трамплином в небо!

И странность застывших вод
Шумящего вечно моря...
И колокол где-то бьет,
Душе вдохновенно вторя.



Наталья Алексеевна Емельянова. Родилась 8 октября 1981 года в Нижнем Новгороде. В настоящее время работает школьным учителем русского языка и литературы. Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Зеркало», «Слово/Word», «Нижний Новгород», «Зарубежные Задворки», «ЛиФфт» и других. Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород» в номинации «Проза» с повестью «Почтальон» (2015 год). Проживает в Нижнем Новгороде.

Наталья Емельянова
г. Нижний Новгород

Говорят, в Якутии...

Говорят, в Якутии выпал снег.
Осень, осень, осень пришла.
Пришёл человек
С работы домой,
Снял тёплую куртку, ботинки.
В Якутии выпал снег.
Он скоро завалит Москву, Петербург, Починки
И даже посёлок Глухое Варнавинского района.
Под курткой оказалось нечто плаксивое и больное,
Совсем не такое, как на картинке.
Словно якутская льдинка
Растаяла в тёплой руке.

Человек подходит к окну,
Лбом прижимается к раме.
Осенью как-то особенно хочется
Обратно на ручки к маме.
Весь вечер лежишь, как бревно, на диване.
А между тем на Иордане, на Иордане

Знаешь что?

Глядит человек в окно,
По трубам идёт тепло,
И теплится жизнь под кожей.
Прохожий, скажи, прохожий,
Ты в день этот непогожий
Счастливый чего такой?

Небо над головой,
Небо над головой,
Небо над головой.
Над Иорданом дождик.
У Иордана можно
Присесть и смотреть, смотреть.
Листья закончат желтеть,
Полетят гонимые ветром...

Апостол готовит сеть,
Апостол готовит сеть,
Апостол выходит в море.
В Якутии скоро прорубь
Прорубит якутский рыбак.

Говорят, говорят, говорят...
В Якутии выпал снег,
Первый, ранимый, слабый.
Что человеку надо?
Над головой отрада,
Над головой награда,
Над головой дом.

В Якутии выпал снег,
В Якутии выпал снег,

В Якутии выпал снег.
Идёт домой человек.

Август. Дочка.

День короче. Ещё только август. А день короче.
Тенью ходит по крышам осень.
Дочка моя у камина на корточках
Греет замёрзшие руки и молится.
Дочка моя научилась молиться рано,
Раннюю литургию, как большая, выстаивает.
Мысли её собираются в тучные стаи.
Дочка моя, то ли девочка, то ли искорка.
Камин разжигаю ярче.
Родилась бы в мае, была бы розовощёкою.
А ты родилась среди веток
Клёнов, не рыжих, а чёрных.
Доченька моя, дочка.
То ли девочка, то ли точка,
То ли сорока, что варит кашу
В детстве далёком нашем.
Доченька моя Глаша.
Доченька моя Маша.
Оля, Кристина, Наташа.
Я становлюсь старше.
Дочка становится каплей
Дождя проливного, долгого.
Много ль ещё нам, много ли
Августов видеть дано?
Август ходит в кино
С дочкой моей Дуняшей,
С дочкой моей Сашей,
Дашей, Полиной, Любашей.
Я становлюсь старше.
Дочка становится августом,
Аистом вьётся над крышей.

Тише, малютка, тише,
Луга ещё солнцем дышат,
Молись у камина, молись.
Грей свои бледные щёчки,
Тихая моя дочка.
То ли девочка, то ли строчка,
То ли розовая мечта.
Август. Трава. Трава.
Улетает на юг детвора.
Собирается в тучные стаи.
Улетает на юг, улетает.

Поезд

Ты слышишь, как поезд поёт?
Ты слышишь, как поезд поёт?
Ты слышишь, как поезд поёт в ночи?
Поёт и стучит, стучит.
Голосовые связки смыкаются с рельсами,
И песня весёлой была бы, если бы,
Если бы поезд был чуть моложе
И если бы день был весенний, погожий.
Поволжье моё, Поволжье,
Всё строже, бледнее и строже.

Настороже будь, когда услышишь,
Как поезд поёт.
Его песня похожа на ветер,
Пронзительный, северный,
Поезд движется размеренно,
Как грузный старик задумчивый,
Что идёт по тропе, покачиваясь.

Настороже будь, когда услышишь,
Как поезд поёт.
Можно подумать, что это скрип старости,

Усталости частые вздохи и остановки.

Нет,

Нет,

Нет,

Нет,

Нет,

Нет

Он поёт, он поёт, поезд поёт,

Голосовые связки смыкаются с рельсами,

Если бы ты был настороже,

Даже нотами смог бы этот мотив зафиксировать.

Поезд стар.

Поезд поёт о том, что видит,

Поезд поёт о том, что видел,

О том, что забыл, о том, что утратил,

О ржавых своих неухоженных братьях,

Служивших так верно

И певших когда-то

О строгом Поволжье,

О жаркой Анапе,

Которую они покидали вот так же,

Когда голоса были звонкими и молодыми.

Поезд поёт.

Поезд поёт так много лет,

Он помнит страну,

Которой уж нет,

Любуется новыми городами

И шепчет: «На ручки хочу, к маме».

Ты слышишь, как поезд поёт?

Ты слышишь, как поезд поёт?

Голосовые связки смыкаются с рельсами,

Ах, если бы, если бы, если бы...

Майский жук

Рассвет, рассвет. Раз – и свет.
В застенчивом мае так рано светает,
Что кажется: ночи нет,
Что кажется: целый свет
Всех любит и всё прощает.
За лесом собака лает.
Рассвет её гладит рукой:
Не бойся, ведь я с тобой.
Рассвет, рассвет.
Майский жук – чёрный человек,
Майский жук – чёрный майский снег,
Ну а ночи как будто нет,
Будто нет этой чёрной ночи.
Ты качаешь в кроватке дочу,
И в тихом её дыхании
Ты чувствуешь: май же, май же...
Рассвет, рассвет.
Ты хочешь найти ответ,
Ты знаешь давно ответ.
А ночи действительно нет.
Рассвет тебя гладит рукою:
Не бойся, ведь я с тобою.
Ты жмёшься к его ладони,
Майский жук сел на подоконник,
Ты гладишь его рукой:
Не бойся: я здесь, с тобой.



Татьяна Половинкина (Санкт-Петербург–Москва–Краснодар). Автор книг «Фавн» (Москва 2014), «Favn» (Торонто 2014); сборник стихов "Бархатные отношения" (Лондон, 2017). Обладатель Золотого Диплома имени А.А. Ахматовой от Лиги Писателей Евразии (2010); лауреат премии общественного объединения "Литературное наследие" (2012).

Татьяна Половинкина
г. Москва-Краснодар

В бой идут не одни старики.
Вдоль заречья по души ребят
На пирогах из костной муки
Поминальные свечи коптят.

В эти лета слепой молотьбы,
Лета клевера и клеветы
Веки спящих солдат голубы,
Губы спящих солдат золоты.

Видят воины брезг наяву,
Слышат ливневый глиняный гул –
Это старец Паисий во рву
Вдруг по-русски распев затянул.

Диким полозом выгнется бровь,
Преисполнится грохота грудь,
И обдаст богатырская новь
Кровяную жемчужную ртуть.

В бой идут не одни старики:
Сотворив «выпрямительный вздох»,

Встанет мёртвая Русь вопреки,
И в неё да уверует Бог.

LA TENDRESSE

В настоящей нежности чёрном флаконе
Таится и бродит живая вода,
То вся заискрясь чешуёю драконьей,
То тёмно мерца, как ртуть и слюда.

К ней лилии клонят смолистые чёла,
И в них копошатся тяжёлые пчёлы,
Червлёное золото влаги сосут...
Настоянной нежности полон сосуд.

Но самая тайная томная нота –
Оброненной капли невидимый звон
О воск голубого листа бергамота,
Утопленный в пудру лиловый пион.

Древесные горькие стебли драцены –
Настоянной нежности шлейф драгоценный.
Как жемчуг речной собирают по дну –
Всю нежность земную собрали в одну.

Словно сомкнули кулисы –
Тихо здесь впредь и отсель.
Через края перелился
Мглы остужённый кисель.

Взгляд осовельный не застит
Самодовлеющий знак.
Ива закинула снасти
В неизгладимый овраг.

К бездне склонилась упрямо,
Никнет и сеет листом.
Так в оркестровую яму
Тянет в театре пустом.

В ноздри не воздух, а войлок.
Вместо глазющих сот –
Мглы остужённое пойло
К завтраку осень несёт.

Уклончив тайный смысл примет -
Мазками птиц на небосклоне.
А сны видны как на ладони
Сквозь листопада трафарет.

Ещё в полях не убран лён,
Мышиных гнёзд не обнажили...
Но инеем посеребрён
Денной луны рожок двужильный.

Предчувствие коснётся лба
И нитью отлетит паучьей...
Леса стоят, полны беззвучий,
И вин полынных – погребя.

Обречена пастьба в степях,
Волхует мельница на воздух:
Как птица, тщится сделать взмах
И грезит, что ещё не поздно.

Крапивой ошпарены пальцы.
Вдоль диких поlynных межей
Летят ко мне братья: двенадцать
Лебязьих натужили шей.

Упёрлась в подвздошь неволя,
И клонит бессилие ниц.
Все думы – о скудости поля
Для нежных растравленных птиц.

Без устали ткутся обновы
Руками, истёртыми в прах.
Но ведренным утром готовы
Двенадцать крапивных рубах.

Как в сказке, скитальцы надели,
Разъяз чернокнижия сень,
Двенадцать рубах из кудели,
Что носят по нынешний день.

По тропинке

Встрёпанное темя кипариса
Прямо в поднебесье угодило,
Где качается в исцветшей выси
Солнечного дня паникадило.

Ветер сушит горечи и губы,
А драгун-трава сечёт долины.
У косога дачного прируба
Деревяннопёрый куст малины.

Вечерами сбитня золотого
Жду от кропотливого заката.

Всё летит клубок льняного слова
Со ступени наугад куда-то.

По тропинке белой известковой
Я свои зарницы проводила,
И отлился в конскую подкову
Круг перегоревшего светила.

Горицвет

Опоились росой ковыли на могиле,
Дождь отстукал ногой костяной.
Я шепчу тебе в душу: послушай, сквозь гибель
Ты теперь безнаказанно мой.

Ветер тенью знакомой колдует на веки,
Наклонилась подслушивать ель.
Ты со мною совсем, горячо и навеки,
И небес диковатых кудель.

Ты на жалах осок, ты клубишься плющами,
Что мне правды обломок с крестом?
Я тебя не оставлю во мгле, обещаю
Перед каждым упавшим листом.

Камнем облако... Сквозь волокно паутины
Муравьиный шевелится свет.
Без тебя не прожить, не сгореть, не уйти мне,
Солонцом напитав горицвет.



Михаил Смирнов
г. Салават

Смирнов Михаил Иванович публиковался: «Литературная газета», «Бельские просторы», «Литературный Азербайджан», «Южная звезда», «Северо-Муйские огни», «Луч», «Кольцо А», «Приокские зори», «Нёман», «Слово\Word», «Зарубежные задворки» и др. Автор нескольких книг.

"О время, погоди..."

Поднявшись на крыльцо, я остановился, глубоко вздохнул и невольно присел на верхнюю ступеньку — шутка ли: отмахал почти дюжину километров под дождём по раскисшему просёлку; сто раз, наверное, вспомнил гоголевское: дороги в России расплзаются, как раки. Пару раз, утомившись, я попытался передвигаться по травяной обочине, боясь зачерпнуть голенищами пудовых от налипшей грязи сапог коричневой жижи колеи. Но трава обочины, залитая водой, была скользкая словно лёд и совершенно непроходима. Пришлось вернуться на фарватер.

Нелегко дался мне этот марш-бросок. И когда на пригорке показалась деревня, запела душа моя. А на крыльце — сморило. И я сидел на сырой досочке и осматривал скудный пейзаж осеннего сада. Редко краснели ранетки; рябины было много — к суровой зиме; между пышных кистей цвиркали синицы. Вдоль стены дома поленница; к сожалению, ольхи да осины много, бедноватый у нас в округе лес. Поверх высокой поленницы уложены куски рубероида, на фоне их аспидной черноты стекающие витые струйки кажутся хрустальными. Случайный лучик солнца коснулся одной — золото потекло с рубероида. Но уже вечерет.

Над туманными купами дальнего леса чёрные стаи птиц, скоро они будут жить в тёплых краях... Пора и мне; сыро, зябко, холодно.

Я толкнул тяжёлую дверь, глаз не сразу привык к тьме. Но запахи! Терпко — вязанки чеснока и лука, на противоположной стенке — сухое разнотравье: душица, малина, иван-чай пучками да вязанками, разве всё упомнишь? Уже и предметы проявились, а я вдыхал и вдыхал; у родины много запахов, но главные — в доме...

На здоровенных гвоздях висит всё та же пара фуфаек (я прислонился к ним щекой), что-то вроде попоны, солдатская плащ-накидка с огромным капюшоном (как ты попала сюда, многострадальная?) Сапоги, фэзэушные ботинки, у-у-у какие большие. Но я знаю их — до чего же удобные! Толстые носки-то всегда на ноге — попадёшь в обувку эту не глядя и — на двор...

Я вышел наружу, вымыл свои резиновые, поставил их в модельный ряд. Споткнулся о лестницу — там, под крышей, наверное, есть сундук со старыми вещами. А скорее всего, он давно пуст — я же сам когда ещё всё там разворошил...

Я шагнул в избу, сбросил рюкзак и верхнее прямо на пол.

Баба Груня сидела на высокой лавке около печки и помешивала деревянной ложкой в чугунке.

— Здрасьте, баб Грунь! Наконец-то добрёл... Опять печку ободрали? Завтра подмажу...

— Да я как заношу дрова, так цепляюсь. Говорила Кольке-печнику, чтобы чуток поменьше сделал, ан нет, не послушал. Наворотил. Дров не напасёшься. А ты скидывай одёжку, скидывай. Проходи, Санько. Как же ты добрался в такую непогодь? — словно не удивившись моему приезду, спросила баба Груня. — Хе-х, снова приехал осень провожать? Что в

ней нашёл-то? Грязища на улице, и дожди хлещут да хлещут. А говоришь, красивше осени ничего нет. Хех, — она мелко, дробно засмеялась и прикрыла рот ладошкой.

— Да, баб Грунь, к осени приехал. К ней, родимой.

Поздоровались, разговорились.

Всю жизнь меня удивляла эта особенность деревенских встреч — приедешь спустя хоть пять лет после последнего посещения, а беседа о человеке или событии словно и не прерывалась.

И однажды я почувствовал неизъяснимую прелесть этой странности — время моё и чувства словно восстанавливались, меня не утомляли не раз слышанные истории, да и сам со странным удовольствием я повторял уже не раз сказанное. В городской жизни подобное невозможно...

На бабе Груне старенькая линияя кофтёнка, застиранная длинная юбка, на поясице завязана шаль. На ногах топтыши, так она называла обрезанные валенки. На голове платок, из-под него выбились прядки седых волос. Она смотрела на меня блёкло-голубоватыми глазами. Выдвинула из печи небольшой чугунок. Обхватила его серым, с пятнами сажи, полотенцем и поставила чугунок на стол. Достала каравай и начала отрезать от него толстые ломти:

— Как чуяла, что появишься. Точно! Глянула в окошко. Дождь хлещет, а ты вдоль забора идешь. Весь в Нюрку, в мамку, уродился. Она приезжала осень провожать, и ты взялся. Твою мамку многие с малых лет считали малохольной. Утром встанешь, чтобы коровку подоить, взглянешь, а она мелькает в платьишке возле воды — рассвет встречает! Мамка-то её рано помёрла. Некому было за Нюркой приглядывать. Так и росла дичком. Думали, пройдёт, когда замуж за залётного выскочила. Ан нет, просчитались! Каждую осень

приезжала. У меня останавливалась. Вещички оставит и на речку мчится. А я на крылечко выйду и поглядываю. Она, бывало, сядет на берегу, уставится на воду или на лес и не шевельнётся. Тёпло ли, слякотно ли, снег сыплет, а ей всё одно. Это она осень провожает! Вернётся, а взгляд чистый-чистый, словно в церкви побывала. Господи, прости мою душу грешную! Переночует. Выйдет на двор. Прижмётся к рябине, словно прощается. Обнимет меня и бежит на тракт, торопится в город поспеть... Хех, и соседи на тебя посматривают! Чать, и ты будешь сынка сюда привозить, а, Санько?

— Да, баб Грунь, буду, — сказал я и засмеялся.
— Мы же все малохолные...

— Тьфу ты, прости Господи! Слышь, а что твоя Танька такая худощая? — взглянула баба Груня. — Плохо живёте, да?

— А если хорошо живём, значит Танюха должна быть толстой? — склонившись над рукомойником, я засмеялся. — Она похудела, когда Серёжку родила. Второго огольца родит, тогда поправится.

— Танька на сносях? — взглянула баба Груня. — А по ней не скажешь. Доска доской. Ну, дай Бог, дай Бог! — она взглянула в передний угол и быстро перекрестилась.

Я вытер руки и лицо застиранным полотенцем. Повесил его на вбитый толстый гвоздь. Потянулся. Прижался спиной к печи:

— Хорошо-то как! Ух, натопила!

— Пришлось. Покуда поросяткам приготовила. Щец наварила, и в печи потопила, как тебе нравится. Митяй, сын Вьюрихи, вчера свинку заколол. Кусище приволок. Ты, Санька, присаживайся. Хех, снова гостинцев понавёз из городу? Да куда мне одной столько-то? Ну, ежели подружки зайдут... Угошу, побалую девчонок. Бери хлеб, бери. Свежий. Позавчера

только испекла. Погодь-ка чуток, мы ещё по рюмашке опрокинем.

Было заметно, как она обрадовалась моему приезду.

Я сидел на лавке и наблюдал, как баба Груня суетилась возле стола. Она достала из старого буфета большие тарелки. Фартуком протёрла ложки и положила рядышком. Напластала розоватое сало с прослойками. Вынула из банки пару солёных огурцов с прилипшими семенами укропа и с какими-то листочками. Не очистив, разрешила крупную луковицу. Вытащила литровую бутылку с мутноватой жидкостью и две гранёные стопки. Села напротив меня. Налила самогон вровень с краями и подняла рюмку:

— Ну, Санько, за приезд, — медленно выпила, замерла на мгновение и резко выдохнула. — Хороша, зараза! Выпей, Санько, для сугрева. Выпей, чтобы не захворать.

Я осторожно взял стопку. Поднял. Не решаясь, посмотрел на белёсую жидкость.

— Что застыл, аки столб, Санько? — шепеляво спросила баба Груня, норовя откусить беззубыми дёснами кусочек сала. — Не бойся. Пей. Чистая! Не то, что ваша химия. На пшенице ставила. Ох, хороша! Я теперь три стопочки, и хватит. Организм не позволяет. Старая стала.

— Баб Грунь, сколько тебе лет, если три стопки выпиваешь? — я спросил и засмеялся. — Сижу, не знаю, как одну-то осилить, а ты...

— Хех! — дробно раскатился смешок, и она шлёпнула по бутылке. — Раньше, бывало, соберёмся с подружками, так этой посуды маловато было. Выпьем, сметём со стола, что приготовили. Песен напоёмся. Душеньку отведём в разговорах, и вставали трезвые, будто не пригубляли. Годков-то скока? Почитай, восьмой десяток доживаю. Многих уже нет на

свете, а я небо ещё копчу. Видать, рановато. Срок мой не подошёл, Санько. Пей, не томи душу. Щи стынут.

Задержав дыхание, я опрокинул стаканчик и сразу закашлялся, внутри польхнуло от крепкого самогона.

Баба Груня протянула кругляш огурца:

— Накось, закуси. Что слёзы потекли? Крепка, зараза? Но хороша, хороша! Всю хворобу из тела выгонит. Погрызи огурчик. Скусный!

Вытирая выступившие слёзы, я захрустел огурцом. Отмахнулся от второй стопки. Принялся за щи. В большой тарелке кусок разварившегося мяса с торчащей костью, крупная фасоль, картошка, капуста. Сверху, под золотистой плёночкой жира, кругляши морковки и венчик укропа. Вперемешку откусывал сало, хрустящие огурцы, подсоленный репчатый лук, перемалывал крепкими зубами, заедал вкусными щами...

Я облизнул ложку. Положил её в пустую тарелку. Откинулся к стене и взглянул на бабу Груню.

— Ух, вкусняцкие щи! — пробормотал я, вздохнул и посмотрел на чугунок. — Умять бы ещё тарелочку, да не уместится.

— Хех! А мой старик, бывало, вернётся, стакан опрокинет, доньшком вверх перевернёт — это была его норма. Ни разу за всю жизньюшку не видела, чтобы ещё выпивал. Ложку возьмёт, и давай наворачивать! Не успевала подливать да подкладывать. Пот в три ручья течёт, а он ещё самовар вздует, напьётся чаю. Сядет возле печи. Засмолит козью ножку. Так и не приучился к папироскам. А потом выйдет на улицу и начинает то дрова пилить, то навоз убирать. Ох, жадён был до работы! Царствие ему небесное! — баба Груня мелко перекрестилась и посмотрела на тёмную икону. — Вижу, Санько, спать потянуло? Погоди чуток. Чайку ещё попьём с баранками и уляжешься.

— Нет, баб Грунь, хватит, — я направился в горницу. — Утром встану пораньше. Хочу на речку сходить да в ельничке прогуляться.

— Не знаю, не знаю, — сказала баба Груня, держась за поясну. — Косточки ломит. Чую, к утру разведрится. Кабы мороз не ударил.

Оставшись в трико и футболке, я улёгся на старый диван. В полутьме были заметны висевшие в рамках старые фотографии. Отсвечивало зеркало, засиженное мухами. Возле голландки, за занавеской, виднелась баб Грунина кровать — старая, с облезлыми шариками на спинках. Я в детстве старался их открутить. На половицах лежали самотканые цветные дорожки. В красном углу мерцал огонёк лампадки перед образами, напротив двери стоял большой комод с разнокалиберными флакончиками, с пузырьками из-под лекарств и прочей мелочью. Возле окна, над столом висели старые ходики. Так было всегда в горнице, сколько себя помню. Сквозь полудрёму я слушал шелест дождя за окном, как баба Груня что-то тихо говорила и звякала посудой, убирая её в шкафчик. Потом она прикрыла меня ватным одеялом, и я заснул.

Очнулся от странной тишины за окном. Казалось, баба Груня продолжала позвякивать чугушками. Она шаркала топтышами да бормотала по-старушечьи, по привычке. И в то же время, что-то изменилось, чего-то не хватало в привычных звуках. Я прислушался. Скрипнул пружинами старого дивана, поднялся и, потянувшись за свитером, взглянул на окно. Здесь-то до меня дошло, что не слышно звуков дождя, лившего несколько дней подряд. Я раздвинул занавески. Всмотрелся в предутренние сумерки.

— Чего соскочил в такую рань? — донёсся неторопливый говорок бабы Груни, и она заглянула в тёмную горницу. — Говорила, что разведрит, так и случилось. В сараюшку пошла, Зорьке сена надёргать,

дык еле спустилась с крыльца. Шла по двору, аж хрустело под ногами. Морозцем прихватило землю да лужи. Куда ни глянь — всё покрылось ледяной коркой. А ты собрался осень провожать. Хех! — она дробно засмеялась и махнула рукой, — сиди дома, Санька, грейся. Нечего по морозу шляться.

— Нет, баб Грунь, схожу, — сказал я. — Пройдусь вдоль берега. Может, зацеплю щучку. Поджарим на обед. Потом проведу ельник и вернусь, — и снял с гвоздя старую фуфайку.

— Погоди, Санько. Побежал, не завтракавши, как и мамка твоя, — засуетилась баба Груня. — Горячего чайку попей с баранками. Душеньку согреешь.

Я налил чай и стал отхлёбывать. Поставил кружку на стол. Надел сапоги. Взял рюкзачок, в котором лежала коробка с блёснами. Едва открыл дверь, как баба Груня протянула старую шапку:

— Надень. Голову застудишь. Санько, пока ходишь, я свежатинки нажарю. Вчера-то не угостила. Да чугунок со шами подогрею. Долго не шлёндай. Обед простынет. Ну, беги, провожай свою осень, провожай. Эть, краса... Хех!

Я взял спиннинг. Спустился с крылечка, держась за холодные шаткие перильца, отполированные ладонями за долгие годы. Ледяная корочка хрустнула, когда наступил на землю.

Взглянул на розовеющее небо. Не та погода установилась для шуки, не та. Ну и ладно. На берегу посижу, погляжу на речку, на воду...

Стараясь не наступать в колею, покрытую тонким слоем льда, я прошёл вдоль заборов. Кое-где виднелся свет в домах или мелькал багровый огонёк лампадки. Выбрался за околицу. В низине, укрывшись кустарником, протекала неширокая речушка. Я каждую осень приезжал в деревню. Уходил на речку. Иногда ловил щучку, а чаще — просто сидел на берегу и

наблюдал за водой, за деревьями. Прогуливался по лесу и навещал ельник, что разросся неподалёку от деревни.

Похрустывала под ногами пожухлая трава. Репейник, будылья крапивы, заросли чилиги стояли припорошенные колким инеем. Проваливались ноги, ломая ледяную корку. Чавкала грязь, и почти сразу же её прихватывало крепким морозом. Но пройдёт немного времени, и под солнечными лучами снова предстанет взору неприглядная для постороннего, но любимая мною краса осенней природы.

Я спустился с небольшого обрыва на прибрежную полосу речушки, которой и название-то давно забыли. Любой житель или прохожий называли её всяко, как вздумается, в зависимости от настроения. Одним словом — безымянная. Остановился возле кромки. Сквозь прозрачные закраины видны полёгшие водоросли. Испугавшись меня, сверкнула серебром рыба мелочь и исчезла в глубине. Во льду застыл жёлтый берёзовый лист. А там, на открытой воде, разошлись небольшие круги. Нет, это не щука. Так... Верховка балует. Резвится. Куда же вы несётесь, мелочь? Не думаете, что под любой корягой или валуном вас ожидают щучка или судак. Эх, молодь, сеголетки...

Присел на холодный валун. Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывало меня, когда я оказывался возле реки. Хотелось вдыхать и вдыхать тонкие ароматы воды, жухлых трав, опавших листьев. В такие моменты я чувствовал горечь неизбежности расставания со всей простой прелестью осенней природы. Но наполнялась душа благодарностью к скромным, но драгоценным дарам её. Долго наблюдал за речкой, несшей воды куда-то в даль. В ту даль, где я ещё не был. И буду ли? Пока не знал... Потом взобрался на небольшой обрыв. Осмотрелся. Я же решил навещать ельник, он зеленел неподалёку от деревни.

Казалось, я недолго находился возле речки, а вокруг уже нет той утренней морозной красы, когда шёл сюда. На открытых местах сиротливо торчали нагие кустики репейника. Под ногами реже похрустывало. Опять зачавкала грязь. С трудом перебрался на взгорок, где начинался ельник. Раздвигая ветви, я направился в сторону деревни. Посматривал на яркий зелёный наряд, на желтовато-коричневый слой опавшей хвои с вкраплениями старых шишек и белую морозную бахрому, она сохранилась под нижними лапами ельника. Слушал цвирканье синичек. Вскоре вышел на маленькую поляну, окружённую высокими елями. И здесь мне показалось, будто под лапой, в теньке, что-то мелькнуло. Остановился. Приподнял колючую ветвь и удивлённо присвистнул. Передо мной, с прилипшими к шляпкам иголками, приютилась небольшая семейка рыжиков. Откуда же вы, родимые? Ваше время давно закончилось! Долго я смотрел на них. Любовался в углублениях шляпок замёрзшими капельками воды, которые превратились в тонкие ледяные снежинки и словно паутинкой затянули доньшко. Но по краешкам шляпок уже была черноватая полоска от первого заморозка. Опасаясь дотронуться до льдистых снежинок, я достал нож и срезал рыжики. Снял шапку. Уложил туда грибы. Опрометью бросился к дому, чтобы показать бабе Груне необычные, сверкающие снежинки и сами рыжики, что не ко времени появились на свет, украсив ярким цветом осенний унылый наряд.

— Баб Грунь, баб Грунь, — крикнул я, ввалившись в избу, — иди сюда быстрее! Глянь, красота какая!

Подслеповато щурясь, баба Груня вышла из горницы.

— Эть, малохольный, — она проворчала и нахмурилась. — Шлѣндаешь по морозу. Что в дом притащил? Точно, в мамку уродился, в мамку!

— Глянь, баб...

Она подошла, шаркая топтышами. Заглянула в шапку, откуда торчали рыжие головёнки грибов с льдистыми коронками, и недоверчиво посмотрела на меня.

— Не может быть, Санько! — и снова склонилась над шапкой. — Откель такое чудо взял? Хех! Зима на носу, а ты грибы разыскал. Эть невидаль-то! Осень долгой была, поэтому они появились. Времечко своё спутали.

Прошло несколько минут. Снежинки превратились в чистые прозрачные капельки осеннего дождя и ртутью перекатывались по доньшкам запоздалых грибов.

— Раздевайся, Санька, — сказала баба Груня. — Заждалась тебя. Чугунок да сковородку не вынимала из печи. А с ними что делать? Поджарим? — и положила рыжики на стол.

Я посмотрел на грибы. Пахнуло горьковатым запахом свежих рыжиков. Словно время вернуло нас в прошедшее лето, приготовив гостинец перед долгой и суровой зимой. И не удержался, ткнул пальцем:

— Последний подарок... Баб Грунь, посмотри, краса-то какая!



Любовь Ки. Родилась и выросла в г. Оренбурге. С 2015 г. является резидентом культурного проекта г. Оренбурга "Другая Среда". Первый авторский сборник «Другой Среды» - «Истории вдохновений» Лучший молодой поэт регионального семинара-совещания "Мы выросли в России" 2017 года.

Любовь Ки г. Оренбург

Спица

Это – как в позвоночнике острая спица.
Я прошу тебя, хватит мне сниться.
Всякий раз, собирая себя по крупицам,
Засыпаю, чтоб снова разбиться.
Новый день – новой жизни пустая страница.
И рука замирает над ней.
Я прошу тебя, хватит мне сниться-
Просыпаться больней и больней.

Нам отмерено было – мы брали без счёта
Безотчетно, бездумно, взахлёб.
Как в той песне, счастливые два идиота:
Алкоголь, много секса и треп.

А потом – в позвоночник та самая спица,
И на выдохе имя замрёт.
И ты станешь шизеть, потому что он снится
И зовёт, и зовёт, и зовёт...

Когда-нибудь

Меня когда-нибудь будут любить
Не так как ты ,а как я – навзрыд,
Отбросив гордость и всякий стыд.
Меня когда-нибудь будут любить.
Он меня будет... не так как ты –
Он не оставит меня одну,
Он не потянет меня ко дну.
Он будет рядом. Не так, как ты...
И я его... Жаль, не как тебя –
Уже впустить не смогу в свой дом.
Он будет просто моим зонтом,
И я его... Жаль, не как тебя.

Меня когда-нибудь будут любить.

Нелюбимые

1
Нелюбимого не хочется касаться –
Замирает в воздухе рука.
И не засыпать, не просыпаться
С ним не хочется. Не хочется никак...
Нелюбимому легко сказать: "До встречи",
И легко о встрече позабыть.
Почему мы так бесчеловечны
К тем, кого не в силах полюбить?

2
Ты смотрел, сощурившись от дыма,
На моих дрожащих рук изломы.
И кольнуло мельком – "нелюбима",
Отравило болью незнакомой.

Ощущенье ближе к слову "включья",
Невозможно выдохнуть осколки.
Нелюбимые. Есть в этом что-то волчье:
Голодны. Опасны. Одиноки.

Драмы

Скрестила руки на груди,
Сквозь зубы хрипло: "Уходи".
Стоять, не поднимая глаз,
Сминая крик,
И знать, что он уйдёт сейчас –
Вот в этот миг.
Ни словом, ни дрожащим жестом
Не выдать боль.
Реальность провалилась с треском,
И мне досталась в этой пьеске
Дрянная роль.
Я навсегда запомню сцену,
Когда лопатками о стену
Стекала вниз.
Я вслед глядеть тебе не стану –
Я ненавижу эти драмы,
Оставим, please.

Ты говорил, что я пустая,
Корнями в сердце прорастая.

Прошлое

Маленькая девочка в комнате без стен
Вышивает прошлое нитями из вен.
Радостен и ясен этот странный плен,
Лишь мелькают кисти в области колен.
Временами слышатся чьи-то голоса.
Вдруг на миг уставшие оторвёт глаза

И опять усердно примется за труд,
Верно ей почудилось, что её зовут.
Тупится иголка, с пальцев – алый сок,
Девочка торопится уложиться в срок.
Бесподобен танец этих белых рук
В учащенном ритме под сердечный стук.
По ночам безветренным слышен волчий вой,
Скоро в эту комнату ввалятся толпой
Будут издеваться, пить и хохотать,
Нежные запястья всё больней сжимать.
Но пока все тихо – мир снаружи нем,
С головой укрылась от его проблем.
Маленькая девочка в комнате без стен
Вышивает прошлое нитями из вен.

Ножи

Слишком много мужчин поселилось во мне.
Разбивают палатки, разводят костры,
Я тушу их пожары в пурпурном вине,
Только флаги их рдеют, всё так же пестры.
Я неслышно дышу, я не выдам себя.
Их бесшумные тени скользят изнутри.
Я когда-то любила всех этих ребят.
Я когда-то убила /прицельно/ на три.

У любви нету правил, тут всяк себе бог,
Но в итоге имеешь, кого заслужил.
Я хочу, чтобы ты прочитал между строк –
Слишком много мужчин во мне точат ножи.

Бабочки

Бабочки умирают
Дохнут сто птук в секунду

Пахнет дождём в сарае
Я больше так не буду

Я больше не играю
Душно в сарае сыро
Бабочки умирают
И оставляют дыры

Весна

Закрываю глаза и хочется
До сведённых тоскою век,
Чтобы чёртово одиночество
Растворилось, как грязный снег.
Чтоб весна, да не календарная,
Настоящая – изнутри,
Словно пламя зажглась янтарное,
И глазища – как фонари.
Чтоб уют – крепкий чай и пряники,
Запах липы и тишина,
И напротив друг друга странники
У распахнутого окна
Смотрят в небо, сидят усталые,
Взявшись за руки под столом.
И смеются, как дети малые,
И не важно им, что потом.



Елизарова Наталия. Член СП Москвы. По первому образованию юрист. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Автор поэтических сборников: "Осколок сна" (2006г. Москва) и "Черта" (2014г. Смедерево, Сербия), книги для детей "Мой ангел" (2015г. Иркутск) - и публикаций в периодике. Участник российских и зарубежных поэтических фестивалей. Стихи переведены на английский, сербский, немецкий, польский, румынский, турецкий, даргинский, болгарский, венгерский языки.

Наталия Елизарова
г. Москва

Ушла под утро тихо, в забытьи,
прощением имен не поминая.
Теперь, быть может, на опушке рая
текут твои бесчисленные дни.

А в комнате так тихо и темно,
машинка больше не сбивает строчку.
Поставила ты вместо строчки точку,
и лишь часы забыла на трюмо.

Лечу в огонь, но не боюсь огня,
твоим теплом согрета или взглядом.
Зачем ты хочешь испытать меня?
Я зрелым с дерева срываюсь плодом.
Мне больно падать, ветви высоко.
Обратно нет пути. Темнеет рано.

И заморозков ледяной покой
рубцует раны.

Когда долго-долго бьют тебя по глазам,
по нежнейшим пальцам, натягивающим струну,
вспоминаешь, что где-то есть освещенный зал,
и резной паркет, и десятки миров-зеркал,
и вступаешь снова в нелепую эту войну.
Мчится глупое время, а мудрое — вдаль течет,
ты междуешь жизнь, и кажется: вот рубеж.
Но кружатся пары под ровный и мерный счет,
и ты левую руку кладешь ему на плечо,
и теперь только музыка в парке, и воздух свеж.

В квартире этой жили у черты
беды, но были с ней на «ты»,
накоротке — веревочке в сортире,
на двух ногах, что толком не ходили.
Здесь мыли пол и протирали пыль,
в трельяже старом прятали бутыль
со спиртом — ставить банки при простуде.
Гостей сзывали, накрывали стол,
и был уют отраден и тяжел.
В квартире их всегда бывали люди.
Одна блины и пироги пекла,
другая здесь сидела, у стола
и в пироги готовила начинку,
потом селедку резала, и вот
настал последний високосный год
и небо, как говорено, с овчинку.
Хотели елку ставить в декабре,
дыхание запнулось на заре
(уже на стол продукты закупили).
Скорбящая не дождалась тепла,

а жизнь рекою дальше потекла.
И люди ели, пили, ели, пили.

Намотает пряди на ладонь,
дернет с силой.
Схлынут с дождевой водой
слезы.
В спину
не ударю, не толкну с холма:
мирный ослик.
А скитаться по чужим домам,
кухням,
после...
После ливней, снега, пустоты,
зимней комы
мне твои покажутся черты
незнакомы.
Запах тлена, талого гнилья,
марта вопли.
Мне судьба покажется моя
где-то возле...

А она лежит, и нога у нее — бревно.
Говорит всегда: «Без ноги я уже давно,
как пошла в сберкассу, упала и вот — бедро».
А до этого было лето и огород,
сад из яблонь и слив, соления круглый год.
Земляника, смородина — просто просились в рот.
И семнадцать лет не входила я в этот сад,
там сухие бесплодные яблони тихо спят,
а воротиныржавые песню свою скрипят.
Там тюльпанов и лилий клубни стали землей,
королевский крыжовник покрылся коростой-тлей,
провода над сараем свисают немой петлей.

А сама говорю: «Не волнуйся, лежи, лежи»,
и мучительно вижу, как в ней засыпает жизнь,
и как будто уходит на верхние этажи.
А она вспоминает снова: «...был жив твой дед...»,
словно и не промчалось стремительно тридцать лет,
словно он и сегодня еще придет на обед.
И она мне рассказывать будет еще о войне,
о своем отце, попавшем в немецкий плен,
и о младших братьях, но более — о сестре.
Я стараюсь запомнить тонкую кисть руки,
и прозрачную кожу ее, седые виски,
и беззубый рот: «Доживаем мы, старики...»
Мне придется пройти тропинкой, что заросла,
подписать договор о продаже «сего числа»,
и продать свою память — место, где я росла.
Где, копаясь в земле, собирала я червяков,
где я плакала из-за капризов и пустяков,
и не думала, что не станет вдруг стариков.

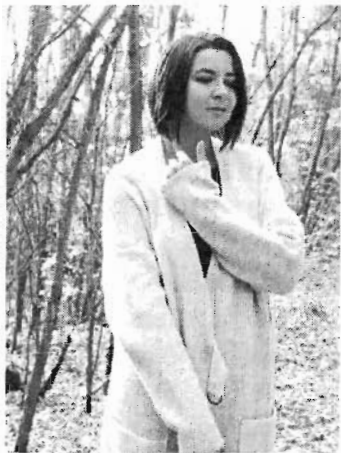
Не проехать, не перейти: широка река,
ибо имя ей «долг», и вода ее глубока.
А в ветвях деревьев, что по берегам ее
открывало смердящее воронье:
«Вон отсюда, враже, не замути реки,
ибо воды ее чисты и волны легки,
ибо то, что чужое — ведомо, не твое,
ибо песня умрет во реке, на волнах ее.
Что ты хочешь — прихоть, а то, что ты любишь — ложь,
будет тяжким игом то, что так долго ждешь,
будет тяжкой долей выбор, пойдет отсчет»
А река играет, но мимо она течет...

Медной монеты мельканье меняет суть
Сутки еще, и ствол бытия — под срез.
Зерна отборны, но в жатву — все та же муть.
Бедному кажется снова — богат, как Крез.

Тени мелодий рассудок уводят в тень,
мечешься, маешься — солнца чужой зенит.
Солнечный длится безумный, полярный день.
и колокольчик в повозке звенит, звенит.

Прощаться на крыльце с последним солнцем в кронах
и осени встречать озябшие плоды.
А птицы средь ветвей, еще совсем зеленых,
стрекочут и трещат — поют на все лады.
И листья от меня уносит по дорожке,
ребенок и щенок бегут за ними вслед.
Мгновения того нет тише и дороже,
и ничего вообще дороже в мире нет.

Осень: зябко, сыро, в монастырь поеду,
за его стенами и покой и благодать.
Сотню дам старухе и хромому деду.
Солнце бьется в купол, светит на погост.
Каменные плиты — старые могилы
мхом давно покрылись, имена скрывая.
Напишу записку за ушедших милых:
бабушка, Надюша, Толя, дядя Ваня.
Свечи догорают... С маленькой иконой
говорю тихонько, глаз не поднимая.
Царь или крестьянин, пеший или конный
каждый просит, чуда ждет от Николая.



Анна Михайловна Терентьева. Родилась в г. Уральск. Образование высшее. Телекорреспондент, музыкант. Лауреат Православного конкурса XXXXI Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (Самара). Лауреат Международного фестиваля «Степной аккорд» (Актобе). Резидент литературного сообщества «Другая среда». Живёт в Оренбурге.

Анна Терентьева
г. Оренбург

Крестики-нолики

Легко поставить на жизни крест.
Мол, выбор сделан, а я безволен.
Я всей системе наперерез
На жизни смело поставлю нолик.

Здесь арифметика нехитра:
В руках - мелок, под ногами - клетка.
Хочу в реальность с судьбой сыграть,
За приз в финале стать человеком.

Или остаться им: зыбок шанс
Сорвать джекпот у эксперта-профи.
За право вовремя взять реванш
Придётся с жизнью делиться кровью.

А у меня лишь в руках мелок.
За столько лет исписался весь он.

И, непослушно сжав кулачок,
Выводят пальцы победный крестик.

Дядя Коля

Каждый вечер стабильно в восемь
Из прокуренной подворотни
Выходил с кривоватой тростью
Дядя Коля, обычный плотник.

Щёки дяди не знали бритвы,
И пиджак был слегка несвежим.
Из прорехи виднелся свитер
Как протест бутикам одежды.

Дядя Коля в недавнем, бурном,
Под воздействием, скажем, чая,
Высекал из брусков скульптуры.
Но шедевра не получалось.

Неудачи росли мешками.
Занимали они полдома,
А друзья, над этюдом скалясь,
Превращались в разряд знакомых.

И когда под покровом ночи
Фонари над рекой сгорали,
Неудачи исчезли - впрочем,
И знакомых с собой забрали.

Оставался несчастный плотник
Простоватой картиной в раме
Среди сотен корявых копий
В своём личном столярном храме.

Правдой, колкой и неприглядной,
Не предметом большого торга.
В пораженьях своих погрязнув
Дядя Коля хотел бы сдохнуть.

Но всё так же стабильно в будни
Весь пропахший древесной стружкой
Он строгал, представляя, будто
Был, как прежде, кому-то нужен.

Дяди Коли не стало в марте.
В мае вычистили квартиру.
А скульптуры снесли на свалку.
Хэппи-энда не будет. Титры.

Хотя тебя даже нет

Варя, Варенька, Варвара,
Длинная коса.
Я б тебя расцеловала
В сонные глаза.

Обняла родные плечи, -
Ну-ка не ревь!
Смотрит чудо-человечек,
Шепчет: "Мам, привет".

Дочка, слушай и запомни -
Мир совсем не прост.
То, что нас сегодня кормит,
Не запасы впрок.

Так уж вышло, мой хороший -
Каждый за себя.
Небу - солнышко, а крошки
Важным голубям.

Я спою тебе на ушко
Тысячи баллад.
Мама маленькой девчушкой
Как вчера была.

И нелепо семенила,
Юбку теребя,
Да заносчиво дразнила
Сверстников-ребят.

Шлёп резиновых сапожек
(Модные, в горох).
В поцарапанных ладошках
Мы несли добро.

Научу тебя я мерить
Лужи под дождём.
Только ты родись скорее.

Мама с папой.
Ждём.

Пазлы

Пазл за пазлом - картина в рамке.
Как алмаз особой огранки.
Бриллиант в 23 карата
Остро режет житейской правдой.

Сотню пазлов сложили двое,
Посмотрели в окно на волю -
Сквозь душевное пулевое
Свищет ветер безмолвным воем.

В полумраке ночей бессонных
Разбросали в квартире ссоры.

Из-за плотно сомкнутых шторок
Не доносится разговоров.

Почему же так горько вышло?

Сотый пазл оказался лишним.

Игры космоса

Нам бы по лужам звонко и шёпот в ночи,
Нам бы касаться сердца и тонких ключиц,
Только вроде "привет", а время летит:
У тебя дети, у меня дурной аппетит.

Помнишь крыши сонные во дворах,
Помнишь GunsN'Roses до утра.
Теплота объятий твоих - мой храм,
И она же - мой затаённый страх.

Как тропинку ягодой не стели,
Не смягчится каменный монолит,
Путь был долог, выхлоп, жаль, невелик,
Делай то, что сердце тебе велит.

А пока, дружочек, давай соврём -
Мы с тобою точно ещё споём.
Бог глядит насмешливым воробьём
И украдкой в небо - "приём-приём".

Бумерангово

Собираясь в горошины, пот катил.
Поменяли ладоши на кулаки.
Милый взгляд холоднее сибирских зим:
Мальчик вырос и маме теперь дерзит.

Непокорный вихор как немой протест.
Он небрежно одет и слегка нетрезв,
Лаунж-бар и бородка - приличный стайл.
Обниматься не принято, мам, отстань.

Завиткам на макушке пора редеть.
Прямо в центре однушка и сын-студент,
Приезжал прошлым летом, столичный фронт.
Редким встречам отец безгранично рад.

Позвони хоть разок, ты куда пропал?
А в ответ - не сегодня, попозже, пап.
Мальчик вспомнит ладошки, в руке рука.
Мам, прости - озарит сердце старика.

Мешок рассказов для юных солнц

Проснёмся с первыми троллейбусами,
Лениво щурясь в обрывках снов.
Привычно чёлки взъерошит рейсовый
Проказник утренний - ветерок.

Разбудим солнце улыбкой ласковой,
Отправим миру дарить тепло,
И вновь по заговору негласному
Одним маршрутом без лишних слов

Умчимся тайны дорог разгадывать,
Секреты гор и шарады рек.
Охалка чувств станет нам наградой,
А самой щедрой - счастливый смех.

Смотри, луна норовит, нахмурившись,
Узреть нарушивших звёздный сон.
Мы ей оставим под низкой тучкою
Мешок рассказов для юных солнц.



Александр Валерьевич Курошин родился в городе Куйбышев, ныне Самара. Закончил Самарский Государственный Университет Путей Сообщения. Печатался в альманахе «Лёд и пламень» (г. Москва), журналах «Русское эхо», «Молодёжная волна» (г. Самара), «Литерга Nova» (г. Саранск), «Бийский вестник» (г. Бийск).

Александр Курошин
г. Самара

Территория Игры. Англия

– Футбол, боже правый, какая мерзость! Юной леди не пристало заниматься подобным скверным делом, мисс Блэр! – Ребекка Томсон укоризненно застыла в проеме.

Джейн, привычная к причитаниям гувернантки, шмыгая носом, зашнуровала бутсы и расправила гетры на стройных девичьих ногах.

– Деревенские олухи сегодня получают по полной! – с довольным видом сообщила она пожилой служанке, взвизгнула от предвкушения и выбежала из комнаты, не забыв показать отражению в зеркале острый розовый язычок.

Мисс Томсон всплеснула руками, назидательно заворчала и поплелась следом. В доме семейства Блэр она работала уже тридцать лет, с тех самых пор, как молодой врач мистер Роджер Блэр взял в жены Эмилию Паттерсон. Все значимые события этого дома произошли на глазах у верной гувернантки: родились старшие дети, мальчики-близнецы Майкл и Генри, мистер Блэр стал главврачом местного госпиталя, а шестнадцать лет назад появилась на свет любимица семейства – сорванец, непоседа и длинный чулок – мисс Джейн Блэр.

Нейтан – маленький полугородок-полудеревенька славился одной своей особенностью – ежегодным матчем местной рабочей молодежи с учащимися колледжей, по

большей части лондонских. Нынешний год не стал исключением. И матч удался. Студенты крупно проигрывали весь первый тайм, но умудрились после перерыва вернуть равновесие, а потом еще и положили два гола в концовке. На счету Джейн, единственной девушки в составе обеих команд, хет-трик и голевая передача.

Вернувшись со стадиона, она присела ненадолго на садовой скамейке перед домом. Грязь на спортивной форме уже начала твердеть, и неплохо было бы поскорее отправиться в душ, но юная футболистка задержалась в саду, чтобы почеканить потертый кожаный мяч. Когда счет дошел до ста тридцати четырех и перед веснушчатым носом замаячил личный рекорд, над изгородью из шиповника, отгораживающей дом семейства Блэр от улицы, появилась верхняя часть тела мисс Томсон. Судя по напряженным плечам, гувернантка возвращалась с сумками из магазина. Джейн наблюдала за ней лишь краем глаза, сосредоточив внимание на кожаной сфере. Внезапно с противоположной стороны улицы, где заборы были повыше и кусты на порядок гуще, к служанке метнулась фигура в потертых джинсах и черной спортивной куртке. Тускло блеснуло лезвие ножа.

– Отдавайте-ка кошелек, мэ! – прошипел уличный грабитель.

Ребекка от страха выронила свои сумки и, уставившись округлым выпученным взором на направленное к ней оружие, заорала, словно банковская сигнализация.

Разбойник дернул висящий на плече женщины небольшой клатч, где мисс Томсон хранила обычно кошелек, и уже собирался дать деру, как получил привет от капитана женской футбольной команды колледжа Чарльттон, выраженный в виде футбольного мяча с пушечной скоростью запущенного в лицо. Снаряд вдребезги размочил горбатый нос преступника, заставив того от неожиданности на мгновение закрыться ладонями.

Джейн в три прыжка добралась до изгороди, оттолкнувшись сильными ногами, перепрыгнула ее и пружинисто приземлилась на уличный асфальт. Требовалось срочно закрепить успех. Пока злоумышленник еще не пришел в себя, и успел лишь скользнуть колючим взором сквозь пальцы по тощей фигурке мисс Блэр, она набрала скорость и срубилла неприятеля образцово-показательным задним подкатом, целя железными шипами на бутсах во вражьи щиколотки. На поле за этот грязный приемчик ей неминуемо грозило бы удаление. Но здесь судить было некому. Грабитель взвизгнул, как ужаленный пчелой щенок и завертелся на мостовой. От его прежних намерений не осталось даже намека.

В то самое мгновение Люцерновую улицу озарили трели полицейского свистка и Джейн увидела как со стороны костела к их дому бегом приближаются два молодых констебля, привлеченные, должно быть, истошным криком мисс Томсон.

Заковать в наручники деморализованного негодяя не составило труда. Джейн подошла к гувернантке и помогла подняться с земли, за время короткого поединка та успела тяжело осесть на бордюр. Подхватив пожилую женщину под руку, футболистка проводила ее до дивана в гостиной.

Вечером девушка вышла из ванной и устроилась в своей комнате на кресле, поджав под себя гудящие от усталости ноги. На молочной пенке в чашке какао расходились рябью следы от губ. Джейн внимательно смотрела в яркий экран телевизора на трансляцию матча «Челси – Сандерленд». Когда вся полузащита «котов» уже висела на карточках и пропускала раз за разом кинжальные атаки по центру и правому флангу, в комнате раздался вкрадчивый, аккуратный стук.

–Мисс Блэр, вы не спите?

Ребекка Томсон, смущенно улыбаясь, вошла в комнату и остановилась на пороге.

– Вот. Вы забыли на улице.

Гувернантка достала из-за спины старый футбольный мяч Джейн, который после сегодняшних событий, оказывается, так и остался лежать на дороге.

– Представьте себе: обычный раствор хлорки, как выяснилось, прекрасно очищает. Я щеточкой потерла, и, видите, совершенно как новый.

Джейн обратила внимание что ее, выдавший виды, круглый кожаный друг был тщательно вымыт от пыли и грязи и впрямь, выглядел изрядно помолодевшим.

– Не пристало юной и прекрасной леди играть грязным мячом, поэтому я решила, что буду мыть его вам после каждой игры, чистым-то и играть приятнее будет, верно?

Территория Игры. Персия

Слава старика Рахмани простиралась далеко за пределы его родной деревушки и достигала даже стен великого Тегерана. Всю свою долгую жизнь Рахмани работал учителем в единственной на весь район школе и за годы своей работы повидал многие тысячи учеников. Среди прочих персидских, сирийских и оманских толкователей Книги Рахмани знал лишь немногих равных себе. Но был в его жизни один особый талант равных по силе которого мудрый старик не видал и вовсе. Один Создатель, возможно и ведает, что послужило тому причиной, многолетний ли опыт учителя, и наметанный мудрый глаз, либо врожденное не человеческое, а не иначе как звериное чутье. Дело в том, что Рахмани умел видеть человеческие способности. Да-да, именно способности других людей и их предрасположенность к той или иной жизненной специальности.

Среди просвещенных и прогрессивных представителей разных сословий Персии, считалось

хорошим тоном и весьма мудрым деянием, отправлять малолетних своих отпрысков к старику Рахмани на воспитание, с целью выяснить жизненную предрасположенность чада и уберечь того от жизненных терзаний, облегчив таким образом судьбоносный выбор. Следует оговориться, что поступали так со своими детьми люди исключительно просвещенного образа мыслей, стремящиеся отступить от традиционного персидского жизненного уклада, где сын наследует дело отца. Рахмани при внешней невозмутимости, граничащей порой с недоброжелательностью, за дело брался охотно и добивался желаемого не более чем через месяц с начала своих наблюдений. Притом, что никаких особых испытаний его поиск в себе не содержал. Это было обычное ведение бытового хозяйства, которое по старческой немощи, Рахмани возложил целиком на плечи малолетних послушников.

Особенно любимым тестом мудрого старца была переноска воды. Старый колодец, единственный на всю округу, находился в пяти километрах от дома Рахмани. Подопытный, нагруженный двумя огромными, тяжелыми даже в порожнем состоянии ведрами, должен был в течение дня сделать пять рейсов до колодца и обратно, принося всякий раз полные ведра воды. Допускалось использовать всякие ухищрения, дабы облегчить себе этот труд. Сущность испытываемого здесь выкладывалась на свет, словно туша барана на базарный прилавок.

Нередко попадались среди послушников честные стоики, надеющиеся только на милость Создателя и собственные плечи. Многие из них окончание испытания встретили лежа ничком перед домом, но большее число — не проходили и половины. Старик относился к таким в меру уважительно и отряжал трудиться солдатами и строителями. Впрочем, немалым количеством среди послушников насчитывалось и иных ловкачей, нанимавших ездовых ишаков и сбегавших потом от их

погонщиков по причине невозможности оплаты их труда. Попался однажды и один ушлый подопытный, пообещавший сыну соседского крестьянина, что если тот на своем добром муле перевезет нужное количество воды, то тут же получит всю мудрость жизни, выраженную в стихотворной форме, которую якобы сам послушник получил в беседе с уважаемым своим учителем, то есть ни кем иным как самим Рахмани. После выполнения обещанного крестьянский сын, изготовившись выслушать взаправдашнюю мудрость жизни, получил взамен несколько наспех зарифмованных четверостиший, которые послушник сочинил самостоятельно незадолго до часа расплаты.

Избитого палкой до полусмерти ученика Рахмани встретил на пороге крайне охотно, обработал его раны чудодейственным снадобьем и, будучи в приподнятом расположении духа, сообщил что призвание пострадавшего – не иначе как трудная, подчас неблагодарная, но в целом редкая и уважаемая профессия артиста. И что при должном отношении к делу, усердии и использовании врожденного таланта мальчика ждет слава сравнимая со славой известного арабского певца, актера и сказителя – Поллада Соловья.

А однажды, на воспитание к Рахмани отправили восьмилетнего Ахмета. Мальчик не отличался ни особой развитостью, ни усердием, а кроме того имел странную привычку лягать ногами любой, хоть сколько-нибудь округлый предмет. Как то Рахмани в своем саду застал Ахмета за изрядно вредным занятием, тот попытался запихнуть ударом ноги огромную тыкву в лежащую на боку бочку для алычи. Упражнение с ведрами и колодцем тот и вовсе провалил, принявшись лягать ведро, смеясь от восторга.

Рахмани впервые в жизни отправил мальчика домой с вердиктом: не пригоден ни для какой работы. Футбол в мире изобрели только через двести лет...

Территория Игры. Китай

Лю Фанг был исключительно терпеливым человеком, однако бесконечные визгливые распри деревни Белого Лотоса и деревни Золотого Дракона стали утомлять и его. Он, нахмутив брови и чуть прикрыв цепкие, но усталые глаза, наблюдал как делегаты двух соседних друг с другом деревенских общин в очередной раз завели полемику относительно очередности использования прилегающих к устью Янцзы пастбищ. Дело пахло очередной междоусобицей. В прошлом году аналогичный спор дошел до яростного, деревня на деревню, поединка, закончившегося несколькими пропоротыми мотыгами животами. Доводить до такого в очередной раз было никоим образом нельзя. В течение сорока минут слушая однообразные аргументы, правитель сосредоточенно размышлял. Наконец он, не выдержав, резко вскочил на ноги и одним прыжком приблизился к обоим опешившим крестьянам.

- Каждому из вас двоих завтра на рассвете быть в моем саду, захватив с собой по десять физически крепких мужчин из ваших деревень.

Он резко удалился в свои покои, не забыв перед сном положить возле рукомойного кувшина приготовленную на завтра кожаную сферу, привезенную им из зарубежного путешествия.

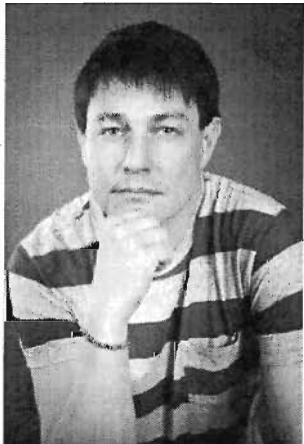
- Вонг, прикажи до завтрашнего утра на обоих краях клеверной поляны моего сада вкопать по две бамбуковые палки на расстоянии двести цуней друг от друга, а сверху на них закрепить по одной горизонтальной такой же, - велел Лю Фанг самому расторопному своему слуге, прежде чем его усталые веки окончательно сомкнулись между собой.

Ранним утром следующего дня он был привычно бодр, быстр и резок, полностью подходя под свое прозвище - "голодная кобра".

- Слушайте меня внимательно и запоминайте каждое мое слово, - обратился Лю Фанг к двум кучкам крестьян, - отныне и до окончания земного существования ваших деревень, все конфликты между собой вы будете решать на поле для игры в ножной мяч. И вот это - он слегка поддел ногой кожаную сферу - ваше единственное отныне оружие. Такова моя воля, воля Лю Фанга, правителя провинции Ци Мин.

Следующие часы, вплоть до самой обеденной трапезы, светлейший правитель провинции Ци Мин потратил на то, чтобы втолковать несообразительным крестьянам правила игры, увиденной им в странствиях по Британским островам, и пленившей его своей философией до такой степени, что во внутренних беседах с самим собой господин Лю Фанг все чаще был склонен приравнивать ее к шахматам.

Верные слуги все это время были в саду рядом со своим господином и молча, с невозмутимыми лицами наблюдали как "голодная кобра" мечется по клеверной поляне стремясь объяснить туподумным селянам хитрости исполнения штрафного удара и преимущества активной перепасовки в полузащите. Должно быть, со стороны это было весьма и весьма комичным зрелищем, однако ни один мускул на лице Вонга и других верных служителей не дрогнул при взгляде на это. "Голодная кобра" был скор на расправу и больше всего ценил повиновение.



Артём Морс родился в 1982 г. в Красноярском крае.

Окончил филологический факультет ИГУ, Литературный институт им. Горького. Автор книг стихов «Из этого темнеющего сада» (2006, Иркутск: «Издатель Сапронов»), «Другими словами» (2014, Москва: «Воймега»). Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Футурум АРТ», «Сибирские огни», «Сибирь», «Луч», «Байкал», интернет-журнале «Пролог», альманахах «45-я параллель», «Иркутское время» и др. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Артём Морс г. Иркутск

Кровью своей золотой,
липовой мягкой кожей
вышел из сердца герой
ни на кого не похожий.

Вышел как будто чужой,
ласковый и некрасивый,
с донкихотовской бородой,
плюшевой страшной силой.

Кто он такой — как снег
на голову упавший —
маленький человек,
недоедавший каши?

Может быть, великан,
пальцем свернувший горы?
пусть он расскажет сам —
выслушать мы готовы.

1.

из мягкого облака в душу пустую
на переходе в метро
я вспоминаю тебя молодую
большого мне не дано

правило жизни и правило смерти
верный единственный свет
как путешествие в тесном конверте
будто обратный билет

может когда-нибудь всё повторится
сложится скучный пасьянс
свет загорится выпорхнет птица
просто уже не для нас

2.

вмятинка жизни камень простой
непробиваемый лёд
не уходи перестань постоять
не доходи до ворот

оцепеневший жасминовый куст
двинуться сил не найдёт
листьев не сбросил полон и пуст
скоро придёт новый год

нет не заменят тебя не найдут
дальше придётся жить
как же тебя в самом деле зовут
имя своё скажи

взрослое животное входит в холодную воду
фыркает и плавает
жизнь его похожа на непогоду
и одновременно на самолет
вот он летит/пльвёт и пльвёт/летит
ветер его обнимает дождь его холодит
господи что происходит и почему всё так
господь не отвечает абонент потерял контакт
хочешь не хочешь приходится выбираться
из обстоятельств/времени/леса/тьмы
взрослое животное с животной грацией
выходит мокрое из воды

В поликлинике

Очень много на заборе крови
маленьких детей.
Вот они толпятся в коридоре,
просят на руки матерей.

Ничего, уколуют — и отпустят.
Вместе с кровью вытечет слеза.
На устах выходят с прозой Пруста,
с мунковским отчаяньем в глазах,

с музыкой Бетховена на сердце,
с грустью Станиславского в груди,
отворилась маленькая дверца —
Господи, спаси... и огради.

Концерт

Лес вырос, вырос я. Отбрасывая тени,
протоптанной тропой медлительно бредём.
Природа говорит на языке растений,
а насекомый хор стрекочет на своём.

Разложим этот шум на составные части,
расслышим, отделим простые голоса:
кузнечика тик-так, зуд комариной страсти,
жучиное жу-жу, стрекозкино за-за.

Звучит, поёт, летит, без всякой партитуры,
невидимый оркестр, случайный персимфанс,
многоголосый мир, не знающий культуры,
симфонией своей бросается на нас.

На репите

пересматриваешь понравившиеся видео
от первого до последнего кадра
рассчитываешь увидеть чего не видел
но на деле видишь всё то же
ничего нового ничего нового ничего нового
подобно тому как шутки становятся
несмешными
а слова теряют смысл если их повторять
но почему-то кажется что мы до сих пор живые
если мы смотрим видео если мы смотрим видео
если мы смотрим видео
на репите.

выпростились из темени
матери лона сна
комнатные растения
мёртвые имена

аглаонема скиммия
сцилла каламондин
кливия бугенвиллия
хойя эхмея мирт

гладкие лакированные
капсулы семена
снова рожают новое
корни растут до дна

что ты стоишь, как вкопанный
смотришь в окно на снег
мятый ненужный скомканный
комнатный человек



Комиссарова Марина Викторовна. Родилась в феврале 1977 года в Приморском крае, детство провела в Амурской области, в г. Завитинске. Участница конкурса «Король поэтов», трижды становилась обладательницей приза зрительских симпатий и дважды отмечена специальным призом от жюри. Публиковалась в литературных сборниках. В 2016 году выпустила первую книгу «Из точки А в точку Б». В 2018 году стала лауреатом второй степени Краевого литературного конкурса им. Игнатия Рождественского в номинации «Видеопоззия».

Марина Комиссарова **г. Красноярск**

Над головой стрекочут провода.
И капель мягкие шлепки – куда придётся.
Щербатая скамейка скромно жмётся
В тени цветущего бессовестно куста.

И куртка трансформируется в зонт
Над головами, что склонились ближе...
Неважно, в Красноярске ли, в Париже
Слагается из атомов озон.

Пойдём пешком? Бордюры заждались...
Поймай баланс точней канатоходца.
Живое – сердце бьётся, бьётся, бьётся.
Не отпускай меня. Пожалуйста, держись.

Остановись и замри возле лапы сосновой –
Капли на ней повисают прозрачной обновой.

Зонт оголил свою спицу и машет антенной,
Передавая привет забайкальской вселенной.
Время ползёт пресноводной рогатой улиткой,
Дождь провожает домой, ждёт тебя за калиткой.
Воздух – слоёный пирог, с начинкой цветочной.
Лучше – не может и быть! Но это неточно.

В раскрытое окно тяну ладони –
Там льёт вода, и капли – всё длинней.
Усни под шум дождя. Вот сад камней
Байкальских – обживает подоконник.

Усни под шум дождя. Обняв меня.
Прохлада прячет в доме деревянном
Тепло дыхания. И так непостоянно
Касанье неземного бытия.

Усни под шум дождя. Подушка сны
Хранит цветные – в пёрышках пеструшек.
И ангелы всё шепчут богу в уши,
Забыв, что он – ценитель тишины.

Мой кошелёк пуст, как твоя душа.
Вечер привёл грусть и шуршит фольгой.
И шоколад ломается не спеша,
Чай остывает, заваренный не тобою.

Мы говорим о том и молчим о сём...
Знаем слова, но не поймём друг друга.
И раскололся быт, и в осколках дом,
И не поможет нам – ни любовь, ни чудо.

Мне позабыть тебя? Но скажи, зачем?
Больно ещё вчера, а сегодня – скучно.

Так не решить моих и твоих проблем,
Я забрала с собой – всё, что было нужно.

Мой кошелек пуст, как твоя душа...

А я не знаю, сколько звёзд на небе
И почему коровы не летают,
Количество калорий в белом хлебе
И что такое конгруэнтность – я не знаю.
Куда девалась прошлая зарплата
И сколько мне ещё ходить «по краю».
Я, приближаюсь, в общем-то, к Сократу:
«Я знаю, то, что ничего не знаю»...

Весна

Весна. Меня позолотило солнце.
Веснушки – как следы губной помады.
Я распахнула синее оконце
И поняла, что ничего не надо.

Что ловишь ветер, хлопая в ладоши
И совершенно не волнует то,
Что нет работы, я безденежна, бесславна
И потеряла пуговку пальто.

Любимый, где ты витаешь
Как снег – мартовский таешь.
Таешь и исчезаешь –
Выпит цветами.

Любимый, где ты витаешь?
Под моими лучами

Грешься и исчезаешь,
Ящерицей – под камень.

Любимый, всё нет ответа.
Я буду – твоим секретом...
Поговорим об этом –
Где ты, любимый, где ты?

Лужа жужжит под колесами велосипеда.
Ветер ловить и купаться в ночи – еду.
Рядом твое дыхание... лёгкой веткой
Вдруг захлестнёт плечо: вперёд, детка!

Если теряешь дно, то речные боги
Держат тебя, лаская руки и ноги...
Дразнят тебя, омывая водою груди,
Сердце поёт – то ли ещё будет!

Солнце в реке спит, и туман робкий
Прячет двоих – от старой рыбацкой лодки.

Из точки А в точку Б, шевеля булками,
Шёл пешеход темными закоулками.
Он опаздывал, но не спешил на свидание,
Нумеруя список причин опоздания.
Пил кофе в пластиковом стаканчике,
Дуя на свои горячие пальчики,
И понимал, что нужен – не одному себе.
Он понимал, что он нужен – кому-то из точки Б.

Я ем яблоко и не думаю: о тебе, о листопадах,
О том, как можно однажды проснуться рядом,
О том, что в аренду сдаются квартиры, а не
тепло...

И рисую, дую на запотевшее автобусное стекло.

Я мечтаю починить зонт и улететь в город,
Снегом засыпанный до каждого монитора,
Шарф красный надену, потом отдам Маше,
А мне коты на прощанье из окон машут...

Я вернусь, когда переменится ветер сердца,
А пока мы с тобой перекусим в «Перцах»,
Посчитаем ступеньки, лестницы, этажи
И тишину разбавим поиском точки «G».

Капелька воды на коже...
слизнуть её – и молчать.
Пусть всё будет как во сне:
утром кончится.
Я назову это стихами,
выкину. И забуду.



Куравский Павел Владимирович,
19.09.1979 г. р., г. Новосибирск. Родился
и вырос в Новосибирске.

В мае 2004 в Новосибирске небольшим
тиражом вышел первый авторский
сборник стихов «Зимний круг». Автор
многочисленных публикаций в
коллективных сборниках, альманахах,
литературных журналах («Сибирские
огни» (Новосибирск), «Дальний Восток»
(Хабаровск), «Дарьял» (Владикавказ),
«Культура Алтая» (Барнаул), «После 12»
(Кемерово), «Голос эпохи» (Москва),
«Термитник поэзии» (Москва).

Павел Куравский
г. Новосибирск

Обское море

Мой берег детства! Те же знаки,
Что были тридцать лет назад:
Моргает красным глазом бакен,
Смирная лодочный азарт;

От счастья сердце тонко ноет:
Так пахнут хвоя и грибы,
Как будто не было со мною
Всей этой раненой судьбы!..

Мир детства был зелёно-синим
И жёлтым. Жёлтым был песок.
Мы весь его исколесили
Велосипедным колесом.

Необозримые пространства
Пронзали чернотой резин.
Лежало наше богдыханство
От Алеуса до Кирзы.

Мир детства был зелёно-синим.
Стоял вечнозелёным бор.
Берёзовой не знал России:
Сибирь и сосны – мой простор.

Щедры всё так же огороды,
Цветёт хоть палка здесь – втыкай!
Трудолюбивого народа
Плодово-ягодный наш край.

Мир детства был зелёно-синим.
Здесь столь пронзительная синь,
Что, суеверный, и поныне
Шепчу я: «Господи, спаси!»

Из этой сини ночью звёзды
Висят, как яблоки с ветвей –
Снимай, хрусти! Созвездий – гроздь! –
Вот небо Родины моей.

Летят года. Идёт к финалу
Забег из темноты во тьму.
Встаю к размытому причалу,
И сладко сердцу моему,

Мне есть ещё, во что всмотреться
На этой жизненной реке:
Всё так же ласково из детства
Моргает бакен вдалеке.

На фарватере баржа
Колет носом волну.
Капитанская башня
Целит точно в Луну.

Одинокий и гордый,
В башне той – капитан.
Он с небритою мордой
И умеренно пьян.

Ночь тиха и ужасна.
Спит с присвистом старпом.
Если что – нет ни шанса,
Но – не думать о том!

Баржа вышла из Камня,
Ждёт её стройотряд –
Три платформы песка и
Щебня ждёт Салехард.

Потому-то бессонна
Капитанская ночь –
В пол коротких сезона
Надо многое смочь:

Двадцать ходок на север
Под глазастой Луной –
Рвать рыбацкие сети
Вместе с жёлтой волной.

И пока этот движка
Тарахтит по Оби –
Бережёт нас Всевышний,
Всё у нас впереди.

Снова будут рассветы,
Будет щебень и туф,
И, как символ бессмертья –
Капитан на посту.

Побелело небо. Скоро хлынет.
Ветер пахнет морем и озоном.
Море потеряло плавность линий,
Стало чаном жёлто-бирюзовым.

Вся гудит и мечется пожарно
Хвойная нечёсаная чаша,
И песок проглатывает жадно
Моря растревоженная чаша.

И ещё фрагмент перед потопом:
В белом небе – кричат ошалелый
Верещит; несёт его потоком,
Редкие доносит децибелы.

Капля, две – тяжёлые, как пули,
Оставляют выбоины в пляже.
Небо чёрно-белое в июле
Не дождём чревато – снегом даже!

И мгновенно – хлещет, рвёт и мечет,
Словно боги открывают краны,
И умолкший одинокий кричат
Сходит к юго-западу с экрана.

Примета

Ель не должна быть выше дома –
Гласит примета старины;
Переросла – и жди содома:
Несчастья, голода, войны...

С годами суеверя реже,
Но помня о завете том,
Я ель упрямую не режу,
А лишь надстраиваю дом.

Литературно-художественное издание
«ОБРАЗ»

Главный редактор: Дмитрий Филиппенко
Редколлегия альманаха:
Дмитрий Мурзин (Кемерово)
Юлия Сливина (Ленинск-Кузнецкий)
Денис Домарёв (Самара)
Амарсана Улзытуев (Улан-Удэ)
Светлана Уланова (Польсаево)
Анна Самойлова (Барнаул)
Антон Метельков (Новосибирск)
Юрий Татаренко (Новосибирск)
Компьютерная вёрстка: Дмитрий Филиппенко
Корректор: Юлия Сливина
Автор проекта: Дмитрий Филиппенко

ББК 023

023 Сборник литературных произведений.–
Ленинск-Кузнецкий:

Литературный альманах «Образ», 2019. 112 стр. 023

Все произведения и материалы, опубликованные в альманахе, охраняются законодательством РФ об авторских и смежных правах. Воспроизведение публикаций альманаха в каком-либо виде без письменного согласия редакции не допускается.

При перепечатке ссылка на альманах обязательна. За достоверность фактов несут ответственность авторы опубликованных материалов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция оставляет за собой право на литературную правку рукописей, не вступаю в переписку с авторами. Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

Справки по e-mail: dimoet@yandex.ru

© Сборник литературных произведений, 2019

© Литературный альманах «Образ», 2019.

50 руб. 00 **цена**
коп.

